

ЖАН ЖИРОДУ



Элпенор

Роман

Перевод с французского БЕНЕДИКТА ЛИВШИЦА
Вступление, подготовка текста и примечания
КОНСТАНТИНА ЛЬВОВА

Вместо предисловия

В 1919 году, вскоре после окончания войны, Жан Жироду опубликовал короткий роман “Элпенор” — изящный модернистский парафраз “Одиссеи”. Заглавным героем он сделал, пожалуй, самого незначительного из сподвижников Улисса. Гомеровский Элпенор на острове Цирцеи крепко выпил и заснул на крыше, а когда стал спускаться оттуда по лестнице, то свалился и разбился насмерть.

Жироду задавал вопрос: превращают ли перенесенные во время больших событий страдания и лишения homo erectus в человека разумного? Жироду отвечал отрицательно, хотя и сочувствовал плачевной участи Элпенора, — не так ли и мы сочувствуем дереву, птице, дому, когда с ними что-то случается, вовсе не считая их мыслящими существами.

© РГАЛИ

© БЕНЕДИКТ ЛИВШИЦ, наследники. Перевод, 1931

© КОНСТАНТИН ЛЬВОВ. Вступление, подготовка текста, примечания, 2024

Жироду дает не один шанс Элпенору на преобразование своей личности, раз за разом воскрешая его, — но Элпенор не желает покинуть скорлупу врожденного примитивизма.

Роман состоит из четырех эпизодов: о циклопе, о сиренах, о плавании в Аид, о визите к Цирцее и о встрече с феаками и Навсикаей. Жироду мастерски орудует скальпелем галльского остроумия, высмеивая философию, демагогию, риторику, стихотворчество и иные культурные институции.

Во второй половине 1920-х годов роман попал в поле зрения советских издательств. Сохранилась маленькая внутренняя рецензия Осипа Мандельштама, написанная, вероятно, по заказу издательства “Прибой” в 1926-м или 1927 году:

“Такой прозы Франция не видела со времени лучших вещей Франса. Даже Пруст и Радиге бледнеют рядом с Жироду. И все же — книга неприемлема. Она — для сверхкультурного читателя. Математически точные капризы синтаксиса Жироду, рассудочная музыка его стиля, заставляющая вспоминать Дебюсси, — все это требует громадной подготовки. ‘Elpenor’ — это ироническая прогулка современного француза по морям и гротам “Одиссеи”, как бы попытка расслышать в рокоте Гомера диссонансы и полутона. Одиссей морочит циклопа категориями германской метафизики во славу прозрачности французского гения... Слова и понятия для этого александрийского писателя, “впавшего в ренессанс”, как впадают в детство, — лишь поющие и говорящие игрушки, разбросанные под дряхлым небом мира”.

В архиве издательства “Academia” (РГАЛИ. Ф. 629. Оп. 1. Ед. хр. 855) хранится наборный экземпляр перевода “Элпенора”, выполненного замечательным поэтом, переводчиком и мемуаристом Бенедиктом Лившицем. На титульном листе стоит дата получения текста — 15 марта 1931 г. К сожалению, редакционную переписку о романе Жироду обнаружить не удалось, либо она утрачена. Некоторый свет на историю несостоявшейся публикации проливает сохранившаяся в фонде литератора, редактора и эмигранта-возвращенца С. М. Ромова (1883—1939) стенограмма заседания редакции серии “Западные мастера стиля” издательства “Academia” (ОР РГБ. Ф. 254. П. 1. Ед. хр. 10). Дата неизвестна, но обсуждались под председательством А. В. Луначарского издательские планы на 1930 год. Редколлегия предполагала выпустить сборники Р. М. Рильке, Дж. Джойса, Г. Аполлинера, П. Валери и др. Основная редакционно-издательская подготовка возлагалась на Оргтрройку в составе М. Зенкевича, С. Ромова и А. Эфроса. Есть в тексте стенограммы и такой пункт: “Считать необходимым издать в первую очередь в данной серии также и один том цельного произведения, — роман или повесть. Поручить Оргтрройке наметить и представить А. Луначарскому на окончательное утверждение название одного из произведений Ж. Жироду или Ф. Супо [вписано от руки]. Книгу издать в течение 1930 года”.

О причинах, по которым издание романа Ж. Жироду не произошло, сведений в настоящее время нет.

Счастливы вы, писатели, если утром,
восстав от сна,
развиваете свои мускулы, —
спасительное упражнение! — словно
гирями, “Илиадой” и “Одиссеей”.

Младший из всех на моем корабле,
Элпенор неотличный
Смелостью в битвах, щедро умом
от богов одаренный...

ГОМЕР *Одиссея, песнь X*

Циклон

ОСТРОВ был раем. Товарищи Улисса, не евшие, не пившие четыре дня, нашли там несколько родников, в том числе один с кипящей водой, все виды плодов и, сверх того, кислотоватую, огромных размеров ягоду, вместе с ядрышком восхитительно таявшую во рту, все породы дичи и, сверх того, желтого в черную полосу парда, которого они нарезали поперечными ломтями. Словом, блаженство: исполнение всех желаний и, сверх того, еще одно, осчастливить которым может только бог. Все тени деревьев и, сверх того, еще одна, благоуханная, которая, принимая форму уснувшего под деревом человека, оберегала его от дурных сновидений; для тех же, кто засыпал рядом с подругой, там были двойные тени...

Однако после полудня матросы и заготовщики съестных припасов [фуражиры] месили ногами песок, словно собираясь извлечь из него сладкий сок винограда. Из глаз их, сверкая блестящими каплями, ручьем катились слезы. Улисс не видел, как это было на предыдущих пристанях, вёсел, насытившихся наконец соленой влагой и деревянными языками втянувшихся в круглые отверстия триремы; не видел спутников своих, высовывающихся оттуда с бельем и вальками. Они только заламывали руки, лоснившиеся на знойном солнце. Если один из них, всласть наохотившись, растягивался наискосок на искрящемся дротике, он прерывисто дергал ногами во сне, словно лягушка на медной проволоке, и отбивался от насильственных объятий Орфея... Так вырывается ребенок, которого кормилица уносит прочь от пленившей его лужи. Короче, у них были все человеческие горести и, сверх того, одна, дотоле им неведомая — из тех, которые может испослать только некий бог.

Дело в том, что невдалеке выступал из воды другой остров, и все их желания были устремлены лишь к нему. Не потому, чтобы он обещал им больше, чем первый, ибо он необычайно походил на него. Даже остроконечная вершина в центре была как будто та же, по склонам — те же апельсиновые рощицы, и морская рябь вычерчивала вокруг него (Улисс приказал Перимеду сосчитать их) то же число зыбких складок. Каждому платану соответствовал там точно такой же платан, каждому земляничному дереву — точно такое же земляничное дерево, и матросы теперь отказывались срывать лесные яблоки и персики, из опасения причинить какой-либо ущерб двойникам этих деревьев на другом острове.

Эврилох, замечавший орла раньше, чем орел замечал его, — Эврилох, которого Улисс в туманную пору ставил перед собой, словно увеличительное стекло, рукой поворачивая его голову в нужную сторону, видел, как те же зебры гуськом бегут вдоль берега, точно растянувшись двухцветной изгородью с мерцающими на солнце полосами.

Перебраться на второй остров значило совершенно то же, что оставаться на первом. Но подобно тому, как любовник амазонки тянется к отсутствующей груди, и томной рукой воссоздает и ласкает ее очертания из морского песка; подобно тому, как мужья двух сестер-близнецов живут, глядя вбок, и скашивают взоры в сторону той и другой свояченицы, так золотое течение, описывая восьмерку, узким ремнем опоясывало оба острова, и товарищи Улисса, нетерпеливо подымая и опуская ступни, как это делает точильщик, заостряли на этом ремне свое желание.

Они закрывали глаза на то, что овладеть вторым образом блаженства значило бы возбудить в своей душе жажду третьего, и так далее, без конца. Они также не представляли себе, что могут в этом зеркале встретиться с самими собою и, подобно двум козам на доске, переброшенной через пропасть, столкнуться лицом к лицу с собственным существованием. Как бы то ни было, они отказывались играть в бабки костями, только что взятыми от нежных ягнят, ибо кости, увезенные с Итаки, им пришлось съесть в один из голодных дней, и поминутно, точно поэты, испускали злое рычание.

Матрос Элленор сокрушался больше всех.

“О божественный Улисс, — восклицал он, — уведи нас на второй остров. Разве у тебя, как и у нас, после того как ты совершил какой-либо подвиг (или малейший поступок), не бывает такого чувства, будто тебе еще предстоит совершить его, именно его? Конечно, мы овладели Троей, но не кажется ли тебе, что вторая Троя, неразрушенная, продолжает существо-

вание первой, во всех ее подробностях: и что Елена машинально кидает взор на Париса, и что безвестный конюх укрادкой ударяет ладонью по крупу Гекторова коня, и служанки Гекубы с невероятным усилием натирают в погребке до блеска потускневшее серебряное блюдо? Конечно, мы видели трех сирен, но нам суждено увидеть еще трех, отличных одна от другой, точь-в-точь как уже встреченные нами, и мы завидуем тем, кто не лицеизрел первых. И даже ты сам, божественный Улисс, — вот я касаюсь тебя, я обнимаю твои колени, но реши мне сквозь твою видимую оболочку умолять второго Улисса, которого ты, о жестокий, заслоняешь от меня! Пускай тот простит меня за то, что я пожелал сфинкса с двумя грудями: ибо ведь и у меня тоже два глаза и два уха”.

“Неужели у тебя и два языка? — возразил Улисс. — В таком случае я погиб”.

Но их уже обступили матросы.

“О царь Итаки, — кричали они, — Элленор безумец, и безумен всякий, кто хочет переправиться на тот остров! Накажи же нас, приведя туда, ибо ясно, что, очутившись там, мы только и будем думать об острове, на котором находимся теперь... За дело, товарищи, и отныне бросайте в море кожуру, зернышки плодов и кости, ибо, оказавшись напротив, мы горько раскаялись бы в том, что осквернили предмет наших вожделений, когда он был еще нашим жилищем!”

Они думали таким образом угодить Улиссу, требовавшему от них строгого соблюдения опрятности, и вскоре там, как в блестящих чистотою странах Северной Европы, не было ничего грязного, кроме воды и моря.

“Оснащивайте же судно”, — обратился к ним Улисс.

“О Зевс, — размышлял он тем временем, — разве не на край света привел ты меня, и эта песчаная мель, вычерчивающаяся между обоими островами, разве не рубеж, отделяющий наш мир от мира Идей? Ты, значит, счел меня первого достойным увидеть в смертных существах и неодушевленных предметах нечто отличное от их тела и тени? Этот остров — не Идея ли нашего острова, остров, созданный самим тобою, ибо ты не был бы богом, если бы занялся устройением низменной материи: на это дело хватило бы и демиурга. Переберемся же на истинный остров. Я понял: пояс вселенной застегивается этой двойною блистательной пряжкой!”

Но он поостерегся доверить эти мысли своим матросам и удовольствовался тем, что приказал им принарядиться и умастить тело благовониями, подобно тому как философ принаряжает и умащает благовониями своих учеников в день, когда им предстоит увидеть сквозь завесу слов царство Идей. Затем

Зефир, подхватив судно за оба паруса, унес его и сразу, точно возница, подводящий морду испуганной лошади вплотную к мраморному столбу, остановил у высокого мыса трепещущую трирему.

По земле, к которой они обращали свои желания, смертные ступают с большим уважением, чем там, где обитал бог. То, что уничтожали или чем пренебрегали матросы на первом острове, здесь они рассматривали восхищенным взором и лишь слегка прикасались ко всему ласковыми руками. Они уже не убивали животных, да к тому же и заходящее солнце покрывало антилоп, куниц и даже бабочек тем блестящим налетом, которым отличается зелень неувядающих деревьев.

Одного лишь Улисса грызла тоска; только у него на сердце было пасмурно, ибо на прибрежном песке он заметил отпечаток исполинской ступни. Желая уменьшить свой вес до последних пределов в мире, быть может, невещественном, он двигался вперед, еле прикасаясь к земле, ощупывая почву посохом, точно это была бутафория, закрывая глаза от малейшего блика, из опасения, чтобы внезапная зарница не поглотила в себе слабого факела его души.

“О Паллада! — мысленно восклицал он. — Сделай так, чтобы я попирал ногами землю, а не Зевсово творенье! И прежде всего, сделай так, чтобы великан, обитающий на этом острове, не оказался по прихоти Олимпа Идеей меня самого. Я только что заметил, что он подвязывает обувь, как это делаю один я, не обводя ремень вокруг большого пальца. Я трепещу от страха при мысли об этом. Разве будут взирать с прежним уважением на любезного тебе Улисса его матросы, если они получают возможность сопоставить его с Улиссом удесятеренным?”

С другой стороны, заметив, как алчная тень смоковницы поглотила тень Эврилоха, он снова начинал опасаться, что все эти тщедушные человеческие тела, в том числе и его царственное тело, могут внезапно раствориться в своем первоисточнике, и потому счел за лучшее укрыться в лоне самой земли.

“О товарищи, — приказал он, — войдем в эту пещеру и расположимся в ней на ночлег”.

Он велел замолчать Фаэсию, первому, изобретшему обращение на “вы” и повторявшему: “О вы, Улисс”, что приводило в трепет царя Итаки, быть может, не без основания ужасавшегося этого множественного числа.

Его спутники уже спали, и сам он вприпрыжку прогуливался по владениям Морфея, более реальным в тот вечер, чем мир, представший ему наяву, когда сгустившиеся сумерки загнали в пещеру стадо огромных овец и оставили их в ней, как

ураган оставляет на морском берегу гневные клочья пены. Вслед за овцами в пещеру вошел великан и скалою отгородил звездную ночь от ночи беззвездной.

Затем он стал разводить огонь, и узловатые сучья дубов взрывались в его руках, точно фугасы. Улисс, которого тревога томила до такой степени, что он испытывал мучительную боль в суставах, и который больше всего боялся увидеть перед собой бессмертного, исполинского Улисса, старался следить за движениями великана. Ему это не удавалось: он слышал только грохот, производимый чудовищем. Впрочем, и этих звуков для него было достаточно, чтобы сердце его стало биться спокойнее.

“О Зевсова дочь, — мысленно произнес он, — благодарю тебя! Это существо кашляет, фыркает, харкает. Это не опрятный Улисс”.

В эту минуту огонь запылал ярче и великан заметил греков. Это был юный циклоп, покрытый растительностью, как гора, в один присест съедавший лань. Все побледнели, кроме Улисса, который боялся встречи лишь с самим собой даже в натуральную величину. Он подошел к страшному исполину, заранее приходя в восторг при мысли, чтобы поиздеваться над циклопом, и развлекаясь возможностью располагать свои слова в обратном порядке. Ибо из веселого озорства он пользовался оборотами речи будущих германцев, удерживающих глагол, точно орешек, за щекой до самого конца фразы и выпускающих его изо рта лишь в последний момент.

“О циклоп, — сказал он, — не двух, не четырех, не шести глаз или пар глаз, чтобы созерцать тот, что посреди лба твоего самым мозгом своим ты питаешь, достаточно было бы! Щит это, о который Аполлона стрелы ломаются, и бровь твоя, подобно луку черному над щитом круглым, над ним появляется и напрягается! О циклоп, когда глаз свой ты прищуриваешь, будто солнце само прищурилось! Образом каким красоту мы распознаем? Тем, что боги ей завидуют. Тебе же могущественнейший Любви бог завидует. Любви, а не Дружбы и не Наслажденья бог, я сказал! На тебя желая походить, Амур на глаз свой правый повязку надел, но она впоследствии у неловкого и на левый соскользнула”.

Циклоп наклонился, и того, чего Борей не может добиться от дуба, дыханием слова своего добился от этой громады Улисс. Между тем матросы, вне себя от восторга, что, вместо страшной опасности, натолкнулись на веселое развлечение, вскочив на ноги, насмешливо кричали:

“Ура! Ура Циклопу! Амур, старайся походить на него! Сокройся, о Амур! Тебе ведь известны все тайники!”

Циклоп внимал им, ошеломленный. Голоса греков, проникая в густо заросшие волосами ушные раковины исполина, вызывали щекотку своими желательными наклонениями. С минуту он, казалось, удерживал их там, накренив голову, как чашу с вином, затем огромным каналом, ведущим к молоточку, пропускал эти хвалы дальше, вглубь уха. Молоточек ударял по наковальне, наковальня — по барабанной перепонке. Только тогда он слышал. Но его барабанная перепонка была так велика и так гулко сотрясалась при каждом звуке, что слышно было, как слышит Циклоп.

“Чужеземец, — произнес он наконец, — язык у тебя хорошо подвешен. Если собеседнику твоему хватает и одного глаза, то одним ухом ему никак нельзя ограничиться”.

Матросы, сообразив, что они спасены, захлопали в ладоши и закричали:

“Не мед на устах у Циклопа! Или же, вместе с медом, пчела оставила на них свое жало. Он за словом в карман не лезет!”

“Чужеземцы, — ответил циклоп, — мне нравятся ваши речи. Я бы не простил себе, если бы скрыл от вас, что в один прекрасный день вы послужите мне пищей. Но это не должно помешать нашим дружеским отношениям! Проворная кухарка рано или поздно зарежет своих кур, но все же она желанная гостя на птичьем дворе, и племя пернатых всякий раз наперебой радостно квохчет, едва лишь завидит ее”.

Спутники Улисса, сообразив, что они погибли, воскликнули:

“Он прав! Будем же квохтать наперебой! А троянцу, который осмелится утверждать, что проворная кухарка не лучшая приятельница своих кур, мы ударами молотка вобьем свеклу в рот, перекошенный, как миндалевидный глаз лицемерного азиата!”

Циклоп повернулся спиной к огню. В его длинной бороде застряли остатки съеденной им антилопы, но матросы не решились указать ему на это, зная, что даже обыкновенные смертные бывают неприятно задеты подобным замечанием, хотя в основе его лежат соображения общей пользы.

“А ты, — обратился наконец великан к Улиссу. — Ты, кто языком своим, напоминающим подвешенного за хвост пифона, мог бы приподнять быка, как твое имя?”

“Меня зовут Никто”, — ответил Улисс.

“Имя это мне ничего не говорит, — сказал циклоп. — Но разве тебе неизвестны права хозяина дома? Разве ты не должен назвать мне имя своего отца и имя деда?”

“Отца моего звали Ни-Никто, — промолвил Улисс. — Он происходил из знатного рода, однако не столь знатного, как мой дед, чье имя было Ни-Ни-Никто”.

“А тебя как звать?” — расспрашивал циклоп всех матросов по очереди.

Но матросы, разгадав хитрую уловку своего царя, не сводили с него взора и, соответственно части тела, на которую он указывал пальцем, называли себя вымышленными именами.

“Меня зовут Мойлоб”, — сказал Эврилох...

Все последовали его примеру. Не обошлось, однако, без тревоги, виновником которой был Элпенор, не раскусивший хитрости и упорно молчавший, озадаченный жестом Улисса, указывавшего ему на собственный глаз пальцем, дрожавшим сильнее компасной стрелки, а также жестами двадцати четырех своих товарищей, подражавших Улиссу. Циклоп угрожающе уже направился к нему. Наконец лицо Элпенора прояснилось:

“Меня зовут Циклоп!” — торжествуя заорал он, и это имя гулко прокатилось по пещере.

Тогда его товарищи, предвидя неминуемую смерть, воскликнули:

“Ах, почему мы не остались на том острове? Конечно, это небольшое удовольствие любоваться в нашей тюрьме блеском прекраснейшего глаза циклопа. Но может ли утешить несчастного паразита, обитающего в раковине перловицы, сознание того, что она питает собою восхитительную жемчужину?..”

Однако, услышав это страшное имя, циклоп, охваченный внезапной дрожью, уселся на место.

“Скажи мне, Никто, — ласково спросил он после того, как сердце его успокоилось, — любил ли ты когда-либо?”

“Смотря по тому, — не запинаясь ответил Улисс, — что ты разумеешь под любовью”.

“Под любовь? — повторил циклоп (освещенный отблесками костра, он, казалось, весь пылал от головы до ног). — Под любовь я разумею — дрожать от холода на огне, леденящем жилы, задыхаться в знойной тени, топором высекать свое имя на коре дубов и вписывать его среди моря, искусно располагая глыбы скал на дне морском. Жалкое имя, ежедневно поглощаемое приливом, так что на протяжении нескольких часов я чувствую себя безымянным! Под любовью я разумею, наконец, возможность, в зависимости от настроения “предмета сердца”, — так, кажется, вы, люди, называете своих возлюбленных? — в зависимости от схождения или расхождения двух крошечных морщинок на его челе (о, роковые стрелки!) в одну секунду постигать вечное блаженство или вечные муки и, если будет в этом надобность, убить его (я говорю о предмете сердца)!”

“О товарищи, — вместо прямого ответа обратился к спутникам Улисс, — спойте циклопу, что такое любовь!”

Так сказал он, и матросы исполнили гимн Пенелопы:

Любить — не значит ли, надрезав нити пряжи,
Натягивать их вновь?
Хотеть и не хотеть царицей быть, и даже
Навек проклясть любовь?

[173]

ИЛ 6/2024

Перимед, возвышаясь над прочими, раскачивался всем телом, отмечая этим способом ритм.

Циклоп в испуге перебил их:

“Эй, будет! — заревел он. — Что это за диковинная, гибкая, обманчивая речь, от которой я точно перекатываюсь по гребням волн, погружаюсь в пучину, опрокидываюсь вверх ногами?”

“Это стихи, — пояснил Улисс. — Женщины легко уступают настоящим тех, кто их преподносит. Но приди в себя, ты смертельно бледен!”

Циклоп провел рукою по лицу.

“Надо быть искусным, как этот старый кормчий, — произнес он, указывая на Перимеда, — чтобы удержаться на ногах при подобной качке. Разве у вас нет иного способа признаваться в любви, менее неудобного для влюбленного?”

“У нас есть еще зачала, — ответил Улисс. — Правда, строгое чередование рифм и отсутствие какого бы то ни было соответствия между ритмом и смыслом — отличительные свойства стихов — сообщают им устрашающую силу, воздействующую преимущественно на телесную сторону человеческой природы, зато зачала способны отразить в себе все движения наших чувств. Подоплекой зачалам служит сама душа, а не наспех обтесанные виршеплетами доски, — и в промежутках между цезурами она предстает нам во всем своем блеске. Товарищи, прочтите циклопу зачалю об *Улиссе, собиравшемся в дорогу*”.

Они стали декламировать, и Перимед, подымавший руку при каждой цезуре и при каждом переносе, не сразу опускал ее, как бы удерживая в воздухе шелковистые складки периода, подобно соглядатаю-божку, приподымающему за край завету брачного чертога:

О, погляди, как тянет коней за дышло возница и запрягает их в колесницу с ходом крутым: о, погляди, не Марс ли с трудом надевает свой пояс! О, погляди, как оба стяга в окне моем плещут, вздуваемы утренним ветром, беседуют между собою, слегка кусая друг друга, как оба мои коня!

Подобно тому, как царь испытывает в доблести новой всех приближенных своих, о наступающий день, дай испытать мне тебя!

О Аврора стыдливая, все на Улиссе окрась, что оставили злато и сталь уязвимым! На сгибы кнемид наложи розоватую узкую ленту!

И позволь перепутать в игре, уж не нужной Элладе и мелким ее разделеньям: о город стольный Итаки, Афины! о Лесбоса город стольный, Сидон!

“Решительно, мне больше нравятся стихи, хотя они и вызывают у меня недоумение, — заявил циклоп. — Но скажи, они или зачала способны скорее склонить женщину уступить нашим домогательствам?”

“Это зависит от обстоятельств, — ответил божественный Улисс (отнюдь не божественный, как это известно всем, в своей чрезмерной приверженности к эпиграммам, которыми он разражался при каждом удобном и неудобном случае...). — Стих, я тебе уже объяснил это, воздействует на мускулы, вызывая у нас улыбку. Видел ты, циклоп, как улыбается женщина?”

“Я видел, как выющиеся волосы Галатеи, которые прямою челкой она подстригает у себя на лбу, вдруг взвивались кверху, подхваченные дуновеньем ветерка. Лицо ее оставалось строгим, но так улыбается бахромою пены свирепое море”.

“Зачало, — продолжал Улисс, — глубоко проникая им в сердце, вызывает у них слезы. Видел ты, циклоп, как плачут женщины?”

“Я видел ливень на лице Галатеи. Она улыбалась. Но крупные капли катились по ее щекам”.

“Эпиграмма же, — докончил Улисс, — заставляет их, дрожа всем телом, кинуться к твоим ногам. Товарищи, спойте циклопу сочиненную Парисом эпигramму на Елену, дочь Леды”.

Так сказал он, и матросы пропели:

Вразрез с молвою, о жена,
Ты Агамемнону верна,
Но надо быть вернее втрое,
Чтоб не прогуливаться в Трое...

“А что ответила Елена?” — радостно затрепетав, спросил циклоп.

“Товарищи, — распорядился Улисс, — скажите циклопу, что ответила Елена. Он совсем не болтлив и никому не поведаст этой тайны. Я знаю, что сначала Елена покраснела...”

“Я видел, как краснеют женщины! — заорал циклоп. — Я видел спящую Галатею в лучах восходящего солнца... Это единственная женщина, способная краснеть во сне!”

Но хор перебил его:

“Затем, дрожа всем телом, — хор, подлещиваясь к царю, старался пользоваться его выражениями, — она промолвила:

Да, это — грех, и не последний,
Но стоит мой Парис обедни!”

[175]

ИЛ 6/2024

“Вы сочините мне эпиграмму! — в безумном восторге заревел циклоп. — Но чтобы составить ее, нужны не все вы. Я уже испытываю приступ голода. Почему бы мне не зажарить двух-трех из вас?”

“О циклоп, — возразил Улисс, — отними у органа одну из его труб, и он начнет фальшивить. Убей одного из нас, и эпиграмма никогда не попадет в цель!”

Таким образом, наградив каждого из спутников прозвищем, Улисс создал из них единое неуязвимое тело. Вокруг неуловимого имени Никто они вкушали завидный покой, следя за малейшим жестом царя, похожие на овец, которые, решив укрыться в тени облака, сбиваются в кучу и следят за всеми его движениями.

“Осторожно! — крикнул Улисс, — будем зорки, чтобы не промахнуться”.

Над глазом циклопа, закрытым словно люк, ведущий в подвалы сна, шесть матросов мерно раскачивали ствол масляного дерева, заостренный конец которого, обуглившись, ярко рдел. Это были те самые шесть человек, которым Улисс обычно поручал вбивать в землю кол и ошвартовывать судно на время бури. С той же силой, с какою они всегда проделывали это, матросы собрались вонзить острие в глаз циклопа и на причале этом укрепить свою жизнь в недрах вечного мрака. Овцы, предчувствуя беду, жалобно повторяли звук, соответствующий второй букве алфавита, предоставив первый по порядку людям, выражающим свое негодование, а восьмой — змеям, собирающимся накинуться друг на друга.

“Раз! Два! Три!” — скомандовал Улисс.

В одну минуту все было кончено! Будь земля шарообразна, она точно так же соскочила бы с оси и разлетелась бы вдребезги, если бы некий стальной бог воткнул в нее раскаленный докрасна указательный палец. Ночь, вырвавшись из глазной орбиты, воспламенялась, точно черные газы. Каждый волос брови и ресниц издавал треск, какой издает стебель увядшего гиацинта, когда его бросают в огонь. Одним прыжком циклоп приподнялся на ложе и чудовищным ревом стал звать на помощь других циклопов...

“Он проснулся!” — сделал вывод коварный Улисс.

В течение двух часов великан бегал по кругу и перепуганные овцы скакали впереди него. Это было сплошное кольцо

вроде тех, что образуются в глубине металлоносных жил. Наконец, сжавившись над овцами, которых он попирал ногами, циклоп уселся посреди пещеры, наудачу простирая направо и налево руки, чтобы схватить греков. Но в пальцы ему вцеплялись крабы, которых спутники Улисса выловили на берегу и теперь, издеваясь, протягивали на концах гибких ветвей орешника.

Вскоре все остальные циклопы собрались у входа в пещеру.

“Эй, циклоп! — горланили они. — Ты кричишь, как девственница, которую насилюют! Скажи нам, кто тебя обидел?”

“Никто обидел! — ответил циклоп. — Никто!”

“Кто же он, твой Никто?” — допытывались циклопы, ибо по отсутствию отрицательной частицы “не” они сообразили, что Никто было имя собственное, а не местоимение.

“Никто? — повторил циклоп. — Это сын Ни-Никто, внук Ни-Ни-Никто...”

Циклопы расхохотались:

“Вот уж ты заикаешься, циклоп!”

“Негодяй был не один, — продолжал Полифем. — Вместе с ним действовали...”

И он перечислил дальше двадцать четыре части собственного тела, полагая, что называет по имени двадцать четыре товарища Улисса.

Это развеселило циклопов.

“А твой пуп, циклоп, — кричали они, — твой пуп здесь ни при чем?”

И прыская со смеху от этой шутки, они вернулись к себе в вертепы, по дороге затеяв возню со своими подругами.

Вдруг циклоп хлопнул себя по лбу — не по середине, а ближе к виску, как обычно делают циклопы, когда в голову им приходит какая-либо мысль.

“О отец мой Нептун! — простонал он. — Исцели меня от эпиграммы, которой меня поразили проклятые греки. Они, нечестивцы, уже хотели научить меня стихам и на суше внушить моему сердцу ту тревогу, которую мы должны испытывать лишь на твоих волнах! Исцели меня, ведь вывести сына своего из мрака богу не труднее, чем вывести его из небытия! Возри на меня, отец мой, и я снова обрету зренье”.

Так взмолился он, и Нептун одним дуновением развеял тяжкую тень, круглым комом навалившуюся на плечи сына. Затем со стволов елей, еще позлащенных солнцем, с каждого стебля, с той его стороны, что обращена к закату, из углубления каждого листа, с каждой окрашенной пурпуром волны он заставил течь запоздалый свет, подставляя обе горсти, подобно леснику, собирающему с деревьев душистую смолу. Затем,

подобно воину, который, устремляясь вперед, ломает тонкие сучья кустарника, он надломил последние солнечные лучи. Затем потянул к себе поверхность моря и взгляды всех моряков, устремленные на нее, стеклись к нему. Мощным маяком отбросил в пространство этот безмерный свет. Затем, подобно бережливой домоправительнице, прикручивающей фитиль в лампе, сотворил из него обыкновенный взор циклопа — однако отныне золотой, ибо создан был этот взор из угасания дня.

У циклопа вырвался радостный крик. Он снова обрел зрение! Изнуренный, он почти сразу заснул, и уже ресницы и бровь пробивались у него, как нежные ростки пшеницы. Греки в ужасе следили за тем, как всходит эта черная жатва...

Шесть матросов, самые дюжие и вместе с тем самые несообразительные, опять начали раскачивать над спящим исполином пылающую головню, но Улисс остановил их:

“Неужели вы рассчитываете вшестером добиться того, что не могли проделать пятьдесят Данаид: наполнить ночным мраком эту бездонную бочку?”

“О царь Итаки, — воскликнул Эврилох, — мы, значит, погибли!”

“Друзья мои, — продолжал Улисс, — поразмыслите немного. Что есть неуязвимого в герое, в сыне бога?”

“Неуязвимо тело его, о Улисс, ибо Зевс одним словом может его исцелить”.

“Таким образом, обратим свое внимание на рассудок циклопа. Нам надо поразить не самый глаз, а его кругозор. Когда Элпенору удастся покинуть междупалубное пространство, где он курит зелье лотофагов, глаза у него еще есть — они даже больше, чем обычно, — но он уверяет, что ступни его прикованы к земле и что ноги у него удлинняются до бесконечности...”

“О Улисс, — перебила его в восторге команда, — ты прав! Возьмем у Элпенора его зелье и предложим циклопу выкурить трубку. Зелье придется у Элпенора украсть, так как он уже пришел в ярость и угрожает, если мы обворуем его, открыть циклопу твое настоящее имя”.

“Пускай не волнуется Элпенор, — сказал Улисс, — мой план гораздо проще”.

“О Улисс, — воскликнули матросы, — твой план сводится к тому, чтобы перевернуть вверх ногами картины, повесить столы к потолку, как мы сделали это однажды в шатре Аякса, желая одурачить его; те из нас, кто говорили, сохраняли неподвижность, а остальные, напротив, жестами сопровождали чужие слова; из пустых тарелок мы якобы ели вкусную похлебку — Аякс от всего этого едва не спятил с ума”.

“План мой еще проще, — сказал Улисс. — Послушайте, в чем он состоит!”

На другой день циклоп пробудился от чьих-то прикосновений к его лицу и обнаженным плечам. Он улыбнулся, так как нередко Аврора ласково дотрагивалась до него своими перстами. Он приоткрыл глаз и не сразу поверил тому, что увидел: товарищи Улисса беззастенчиво попирали босыми ногами его тело, оставляя на нем отпечатки своих ступней. Пещера подверглась полному разгрому. Греки пили вино прямо из мехов и молоко — прильнув губами к вымени. Старые бородачи-провиантмейстеры, сидя верхом на баранах, затеяли бега и отсчитывали на песочных часах рекорды быстроты.

Циклоп испустил рев один раз, второй, но никто не удостоил его ни малейшим вниманием. Исполина это поразило.

“Эй ты, — заорал он, — главарь шайки! Как это ты осмеливаешься оскорблять меня в моем собственном жилище?”

“О циклоп, — ответил Улисс, — как некстати ты проснулся! Мы горячо желали бы уважать и бояться тебя. Но крайне веские соображения мешают нам относиться к тебе так, как нам хотелось бы, и побуждают нас сделать из тебя предмет забавы. Ты сам, дурак, согласишься с ними!”

“Я сам, — зарычал циклоп, — я сам дурак! Что же это за соображения?”

“Кто нам докажет, что ты существуешь, циклоп? Мы уверены в нашем собственном существовании, но не в твоём! Неужели ты полагаешь, что я отважился бы называть тебя дураком или даже слабоумным, если бы весь мир не был только видимостью?”

“Только видимостью? Только видимостью? А что такое видимость?”

“Товарищи, — сказал Улисс, — спойте циклопу, что такое видимость”.

Послушные слову его, они спели дорийский гимн:

У Видимости только прядь,
Одна лишь прядь волос...

Они путали Видимость с Вероятностью и Вероятность со Случайностью. Но Улисс сознательно не хотел исправить их ошибку. Когда они кончили, он объяснил великану всю иллюзорность видимого мира, объяснил, что материя есть дух, дух, обращенный в небытие. Он предложил исполину, скрестив указательный и средний пальцы, катать хлебный шарик, и циклоп был поражен, когда почувствовал, что катает не один, а два шарика. Однако он не сразу дал убедить себя:

“Чужеземец, — сказал он, — ты говоришь красноречиво, и я готов согласиться с тем, что материя только видимость. Но если для каждого его собственное существование есть нечто непреложное, то я уверен в реальности своего и, значит, имею право зарезать и изжарить двадцать четыре жалких видимости”.

“Ты волен, — холодно возразил Улисс, — сократить пределы твоего собственного царства. Подвластные тебе видимости не так уж блистательны и многочисленны! Творческим гением своим ты вызвал к жизни образы греков. Ты волен поставить на место каждого из них бессодержательное воспоминание. Но ты алчен и не захочешь поглотить свои сокровища. К тому же каким образом ты завладеешь нами?”

“Я кинусь вам вдогонку и переловлю вас”, — сказал циклоп.

“Ну и смешон же ты, циклоп, — ответил Улисс угрожающе. — Ты, значит, не знаешь, что такое пространство? Товарищи, спойте циклопу песнь о неделимом пространстве или, вернее, о том, почему Ахилл — мы неоднократно проделывали этот опыт на Троянском берегу — не может нагнать черепаху. Уж не считаешь ли ты себя, слоновья туша, более быстроногим, чем сын Пелея?”

Так началась для циклопа неделя пыток. Он упорно не желал отпустить греков, но каждый день устами Улисса лишал его одной из тех тяжеловесных идей, которые служат как бы каркасом для стольких наивных душ. Не так ли платье с воланами, если срезать с него свинцовый груз, взвешивается кверху при малейшем ветерке, обнажая гладкие колени женщин?

Сегодня Улисс уничтожал Время, и циклоп растягивался плашмя на песчаном берегу, без прошлого, без будущего, подобно сломанным песочным часам: весь мокрый песок, казалось, высыпался из его растерзанной груди.

Вечером наступала очередь Пространства, которое философы охотно удлиняют, как раздвижной стол при появлении лишнего гостя, прибавляя к нему по одному измерению для каждого серьезного читателя, и исполин, вменив себе в обязанность ходить неделимыми шагами, заносил ногу далеко вперед, как человек, страдающий расстройствами двигательной системы, и отказывался следовать даже за самой слабой овцой.

Или же царь Итаки учил его не доверять краскам и оттенкам, и, подобно тому как это делает горе, легковерие циклопа окрашивало в черный цвет то, что он любил больше всего на свете, — его белых овец и рыжих баранов, ибо Улисс не разъяснил ему, что черный цвет — такой же цвет, как и все остальные.

Он верил теперь сновидениям, и жизнь его капля за каплей уходила в ночь, как уходит в почву вода из плохо цементированной цистерны. Затем Улисс научил его ложным силлогизмам, сообщил ему, что Вселенная покоится на Числе, и теперь циклопу казалось, что каждый предмет перемещается в пространстве на крошечных цифрах, как на спинах муравьев.

Он уже стал заикаться, при каждом движении наталкивался на стены пещеры и, словно ребенок, о том лишь и думал, как бы доставить пищу посытнее своим образам. Сам он худел, но до отвалу кормил греков маслом и сырами, а овцы его, которых доили ежеминутно, тощали вместе с ним, ибо — возлюбленные овечки! — они были его собственной плотью, а не неблагодарными видимостями.

“О, блаженство! — восклицали спутники Улисса. — Ни один из наших хозяев не был так гостеприимен! Помните, друзья, тот месяц, когда мы были образами киконов и сидели на хлебе и воде? Или ту неделю, когда мы были образами дочерей Мелада, требовавших от нас, чтобы каждое утро мы брились начисто?”

Наконец циклоп не выдержал...

“О чужеземец, — взмолился он, — освободи меня!”

“Освободи нас, циклоп, — ответил Улисс, — и ты будешь свободен”.

“Никогда! — заревел Полифем. — Либо вы останетесь моими образами и я беру на себя заботу о вас и уход за вами. Либо вы не образы мои, и в таком случае я вас сожру”.

“Воля твоя, — сказал Улисс. — Товарищи, спойте циклопу гимн, носящий название ‘Плачевная Картина Жизни Циклопа’”.

Они поднялись со своих мест и запели ужасающий гимн:

Подобно птице, заблудившейся в облаке, я больше не знаю, где небо, где земля, где волны морские. От сердца Галатеи меня отделяют пустота, бесконечность и небытие. От очей Галатеи меня отделяют эфир, обманчивые призмы и пространство, которое ничем не заполнить. От мысли Галатеи меня отделяют вечность, неведомое и изначальный туман. Три руки времени — настоящее, прошедшее и будущее — играют в жгуты с рукой Галатеи. От уст Гала...

“Довольно! Довольно! — закричал циклоп. — Клянусь, я никогда не убью вас, но дайте мне какое-нибудь средство исцеления!”

Улисс уставился взором в глаз циклопа, затем, покосившись в сторону спутников, промолвил:

“Средство исцеления, циклоп, заключается в том, чтобы мы продолжили всю историю с того момента, на котором мы ее оборвали”.

“Чтобы я вас убил, хочешь ты сказать?”

“Ты не убил бы нас, — возразил Улисс, — ибо на этот случай у меня уже была готова уловка. Между тем как ослепленный Элпеноровым ли зельем или заостренным колом, ты обдумывал бы способ отомстить нам, твои овцы, проголодавшись, принялись бы блять. Ты откатил бы тогда каменную глыбу, заграждающую вход в пещеру, выпустил бы их на волю, поочередно погладив по спине каждую из них, и мои товарищи, вися у них на животе, беспрепятственно выбрались бы наружу. Я же проскользнул бы, уцепившись за шерсть твоего лучшего барана, к которому ты обратился бы со следующими словами (слушай внимательно, ведь тебе придется их повторить): ‘О мой любимый баран, ты, каждое утро первым вырывавшийся на пастбище, неужели ты познал, что с твоим хозяином приключилась беда, ибо сегодня ты выходишь последним?’”

“Спасайтесь же! — сказал циклоп. — Прощайте!”

“Мы не желаем спастись! — воскликнула вся команда. — Одни лишь трусы отваживаются бежать — плачевная храбрость! Мы хотим вновь обрести свои тела в закоулках пещеры, где мы их оставили в тот вечер, когда ты сделал из нас свои образы. О товарищи, лишь бы только, по милости богов, наши останки сохранились еще в добром состоянии!”

С этими словами они забились в дальние углы, наполнили там свои карманы сырами и плодами, затем, уцепившись за овец, исчезли в сиянии дня... Растаяли как сновидения... Циклоп теперь ощупывал спину самого крупного барана, поглаживая другой рукой — прощальная ласка! — лицо Улисса. Но герой с отвращением уклонялся от этих прикосновений.

“Преследуй нас!” — приказал Улисс, когда он уже находился на внушительном расстоянии от пещеры.

Циклоп пустился за ними вдогонку, но не слишком торопился, так как, ослепленные солнечным светом, они ничего не видели и спотыкались на каждом шагу. По временам они оборачивались и осыпали циклопа оскорблениями, чтобы придать большую правдоподобность погоне.

Наконец все добрались до высокого мыса, за которым они укрыли свой корабль. Он покачивался на золотистых волнах, распластав в воздухе алые паруса. Это был первый образ судна, возникший в мозгу циклопа, и Полифем с изумлением созерцал его, стараясь отделить подлинный образ от его отражения в воде, не уступавшего по яркости тому, что было над

водою. Не успел он создать образы весел, бизань-мачты и брам-стенги, как ветер уже надул паруса.

“О дорогие люди! — крикнул циклоп. — В безумном бреду я сотворил вас, но сегодня рассудок повелевает мне расстаться с вами! Но не буду ли я с наслаждением вспоминать о вас? Я плачу: никогда еще я не видел вас такими лучезарными!”

Он обращался к ним в женском роде, с тех пор как стал считать их лишь видимостями реальных существ.

“Сбрось в воду несколько скал! — крикнул ему Улисс. — Волнение поможет нам отчалить от берега”.

“Готово, о прекраснейшая и хитрейшая!” — рявкнул циклоп.

“Моли отца твоего благоприятствовать нам в нашем плавании!”

“Молю его, о бородатейшая!”

Когда греки уже оказались за пределами досягаемости, Улисс, велев шести своим товарищам рупором приставить руки к его рту, крикнул:

“О циклоп, дурацкая туша, глупость твоя, подобно твоему уродству, не имеет границ! Неужели ты полагаешь, что образы такого неотесанного олуха могут быть греками и что мозг циклопа может, не разлетевшись вдребезги, породить идею Улисса? Знай же: ты тупоумно отпустил на свободу не кого иного, как самого Улисса и его товарищей! Не жди отныне никаких отрад от своего пастушеского ремесла, ибо в сердцах, по которым мы прошли, никогда уж не зазеленеет нежная мурава!”

Тогда матросы стали выкликать свои настоящие имена, отшвыривая от себя свои смехотворные прозвища: теперь это были Эврилох и Перимед, Оркей и Писелонт, все члены живого тела Одиссеи. И каждый из них поносил циклопа.

“Следовало бы свои образы всегда держать при себе, как овец, — размышлял великан. — Как только они удаляются на некоторое расстояние, они дичают и оскорбляют нас!”

Когда на море исчезли последние отблески, а на суше — последние отзвуки, он печально побрел к себе в пещеру. Голова у него еще шла кругом от этой сумасшедшей недели, как вдруг прямо перед ним заковылял хромой ягненок. Вздвигаясь, он хотел поймать его, но это долго ему не удавалось, так как он боролся с неделимостью своих шагов и всякий раз оказывался по ту сторону цели. Наконец циклоп настиг ягненка, но горестно вздохнул, ибо находился еще во власти чар и ему чудилось, что ягненок существует только в его воображении, а не трепыхается у него в руках. Он присмотрелся к нему поближе, привлек его голову к своим губам и вдруг, ко-

гда глаз его очутился на одном уровне с глазами животного, он разглядел их белки. Он увидел зеленые зрачки и черные копытца. Он подскочил в восторге, снова обретя способность различать цвета. Он сделал прыжок — о, счастье! Голова его не упиралась в небо, и небо было синим. Он больше не страдал от собственной тени, и она была лиловой. Тогда, кинувшись к овцам, он стал доить их, и слезы надежды хлынули у него из глаза. Они падали в ведро, и молоко тотчас же створаживалось. В этот день он изготовил самый восхитительный из всех своих сыров.

Сирены

Судно плыло без руля и без ветрил, ибо гребцы скатились под скамьи, в этот раз опьянев от усталости. Троянский пир отнял у них двадцать лет. Они сетовали на судьбу, но уже еле слышно и, жуя обрывки веревок, старались обмануть свой голод; однако, даже ради спасения собственной жизни они не решились бы больше пошевелинуться. Тогда хитроумный Улисс велел Перимеду протрубить сбор к обеду, и все сорвались со своих мест, за исключением одного Элпенора, который, переняв у лотофагов привычку к курению, продолжал валяться без сил между обеими палубами.

“Какая чудесная трапеза готовится для нас! — восклицали матросы. — О Улисс, ты, сдерживающий даже обеты безмолвия, не все соблазняешь ты нас обетом трубного звука! Вот уже, о сын Лаэрта, мы больше не испытываем жажды: наши рты наполняются сладостной влагой!”

Так говоря, они ударяли ложками о щиты, ибо все тарелки меньших размеров они растеряли во время осады.

“Увы! — промолвил Улисс. — Труба протрубила сбор к обеду, да не к вашему. Речь идет о трапезе чудовищ, к которым сегодня неизбежно приведет нас морское течение. Через час мы уже услышим голоса сирен, через полтора поравняемся с гнусной сукой, с божественной Сциллой, а через два — если только кто-нибудь из нас еще уцелеет, — со смрадной, но богоподобной Харибдой”.

Восторг команды не знал уже никаких пределов.

“О царь Итаки, — закричали все, — мы говорили это! Ты превышаешь свои собственные обещания!”

Но Улисс отклонил от себя их похвалы:

“О дорогие товарищи, — горестно вздохнул он, — шестеро из вас, шестеро моих любимцев, шестеро самых отважных станут через минуту добычей сирен”.

Но они не дрогнув выслушали роковую весть.

“Увы, — воскликнули все в один голос, — почему мы не эти шестеро любимцев? Отрадно погибнуть ради спасения своих братьев! Но не напрасно, о божественный Улисс, ты не достаиваешь нас своим предпочтением: ты, разоблачивший Ахилла, переодетого в женское платье, сумел под нашими доспехами разглядеть наши женские сердца. Увы! Почему мы так трусливы? По крайней мере, мы мужественно сознаемся в нашей трусости. Итак, удовольствуемся тем, что послушаем пение сирен: музыка, говорят, заглушает голод”.

“И не думайте делать это! — возразил сын Лаэрта. — Я один, привязанный к мачте, буду внимать их жалобному зову. Вы же продолжайте грести, залепив себе уши воском, если только вам удастся найти немного воску”.

“О Улисс, — воскликнули матросы, — для этого нам достаточно будет проследить до улья несчетных пчел, без усталы собирающих мед с твоих уст”.

С этими словами они бросились в кладовую, где в ящиках из-под сухарей они хранили воск, которым заливают дыры, проеденные морскими червями в корпусе судна. Возвратившись, они застали Улисса тщетно ищущим веревок, которыми его надлежало привязать к грот-мачте; не найдя ничего, он пришел в ярость.

“О Улисс, — заявили они, — есть только один прочный канат: тот, которым речь твоя обвивается вокруг шеи твоих слушателей, делая их навек твоими пленниками”.

Однако они поспешно связывали узлами разрозненные концы веревок, единственную свою пищу.

Надо было торопиться. Перед ними уже высился тринакрийский берег, весь трепеща и словно только теперь рождающаяся из морской пучины. Не успели они занять свои места на скамьях, как шесть голов Сциллы — ужасающие персты шестипалой руки — схватили шесть матросов. Улисс, привязанный к мачте, увидел их в воздухе у себя над головой, они приветствовали его:

“Как прекрасно, — кричали они, — умереть жертвою сирен”.

Царь Итаки не хотел разуверениями омрачить их счастье и притворно улыбался, глядя на их достойный конец. Не так ли в городах люди, в юности соvrащенные с пути добродетели бесстыдной потаскухой, до глубокой старости сохраняют убеждение, что пали жертвою любви — и позор тем, кто старается исцелить их от этого заблуждения!

Между тем Харибда уже заливала желчью, кровью и пеной кают-компанию и всю трирему.

Наконец показались сирены. Каждая стояла, выпрямившись во весь рост на высоком мысе, и нагая, угрюмо размахивая своим пеплумом, производила впечатление чрезмерно целомудренной протестантки, потерпевшей крушение и вынужденной раздеться догола, чтобы призвать на помощь спасителя.

Первая была белокурой, вторая черноволосой, третья рыжей — это были цвета, которые у женщин сыну Лаэрта нравились больше всего, и он уже простирал ко всем трем свои царственные руки.

Тогда раздались голоса сирен. Но в этот день исполненные печали и уподобляясь поэтессам, разочаровавшимся в поэтах, сирены не испытывали никакой ненависти к мореплавателям, исследователям, инженерам и, напротив, решили открыть этим кормчим свои божественные тайны.

“Дорогой Улисс, — пела первая, — если, проведя свой корабль через Геркулесовы столбы, ты будешь плыть тридцать дней и тридцать ночей, то после того как он минует узкий остров, занимающий в ширину ровно столько, чтобы огнеглазые его обитательницы могли протянуть от одного берега до другого свои гамаки, ты достигнешь нового материка, где краснокожие дикари в головных уборах из трехцветных перьев разъезжают верхом на крокодилах (там их называют кайманами), и однажды вечером, увидев сначала парус приближающегося судна, а затем его корпус, ты поймешь, что земля шарообразна”.

Но Улисс не мог расслышать ее слов, так как матросы, чтобы было легче грести, во весь голос затянули песню Катаблепасу, поедающему, когда он голоден, собственные ступни. Затем, обогнув мыс, гребцы вынули из ушей, обращенных в сторону Улисса, восковые затычки.

“О повелитель, — громко вопрошали они, — что сказала тебе сирена? Ты ведь корчился от вожделья, и мачта сгибалась, как тростник...”

“Она пела божественную песнь! — ответил Улисс, не желая разочаровывать спутников. — О друзья мои, послушайте это обворожительное четверостишие:

Улисс, твой гибкий ум всемогущ!
Ты — светоч глаз! Ты — вещий филин!
Герой учтивый и пригожий,
Возьми меня к себе на ложе!

Но заткните уши снова, товарищи, да поторопитесь: мы приближаемся ко второму мысу!”

“Дорогой Улисс, — запела вторая сирена, — ляг в один прекрасный день под яблоню и погляди, как падают на землю яб-

локи. Быть может, ослепительная мысль молнией вспыхнет в твоём мозгу. Или займись, развлечения ради, смешением мелко истолченного древесного угля с обыкновенной селитрой. В просверленную с двух концов бронзовую болванку (сделай внутри ее нарезь, если твой противник находится на значительном расстоянии от тебя), всыпь твою смесь, вложи каменное ядро и подожги все горящим фитилем”.

Но голос ее заглушило пение матросов.

“Как глупо, будучи голодным, — горланили они, — говорить без умолку о еде! Исторгнем из мыслей наших, как это делают, когда потрошат тушу быка, широкое легкое, вкусную печень и сочный сдор! Ни одного намека больше в наших песнях ни на винные ягоды, что лопаются на Вакхе, как божественные паразиты, обожравшиеся пурпуром, ни на черный виноград, свисающий с лоз и похожий на гроздья съедобных ракушек! Ни слова о рыбах! Что же касается вина и меда, сметаны и простокваши, заявим во всеуслышание, товарищи, что мы никогда не видали их в глаза... Но мы обогнули мыс, о Улисс; что же сказала тебе вторая сирена? Глаза твои плавали в слезах, ногтями ты до крови раздирал себе грудь... Неужели сирена надругалась над твоей славой?”

“Она надругалась лишь над моей душевной скромностью, — ответил Улисс. — Она зло подшутила надо мной, ведь это — блондинка. Послушайте, послушайте только, с каким искусством она косвенно превозносила меня:

Все, что божественно — прекрасно,
Мне опротивело навек.
О, кто ты, чье уродство страстно
Меня пленяет, человек?”

“О Улисс, — воскликнула команда, — как удалось устоять тебе против такого мадригала? О, позволь, позволь нам двойным узлом прикрепить тебя к мачте”.

С этими словами они снова заткнули себе уши, ибо третья сирена, рыжая, ослепительная, поворачивалась во все стороны на своем мысу, как сноп лучей, отбрасываемых маяком.

“О Улисс, — пела она, — хочешь ли ты, чтобы ни один из твоих подвигов не пропал для потомства? Тогда установи особые начертания, которые явятся обозначением отдельных слов или частей их. Вырежь эти знаки, само собой разумеется, наизнанку, на деревянной или медной доске, смажь ее черным маслом и оттисни эту форму на ткани. Если ты хочешь отомстить Ахиллу, не вверяй его имени металлу, и никакой Илиады не будет!”

Но матросы надрывали глотки:

“Сатурн питался закутанными в пеленки дорожными столбами, но на зыбкой дороге морской нет никаких столбов!.. О Улисс, один глаз вышел у тебя из орбиты и ты тщетно силился прикрыть свое тело парусом: ветер все время срывал его с тебя. Не оскорбила ли твоей стыдливости рыжая сирена?”

“О товарищи, — вздохнул царь Итаки, вдруг устав от импровизаций, — какое это было наслаждение!”

“Счастливые сирены, — в восторге воскликнул хор, — счастливые сирены: им эхом служит сам Улисс! О Улисс, что сказала тебе эта обольстительница?”

“Что она сказала?.. — повторил Улисс, у которого в этот раз не хватало вдохновения. — Она сказала... она сказала... предпочитая рифмам ассонансы... она сказала только...

Сирена
Харибда
Трирема
Улисса”.

“Какой великолепный гимн!” — воскликнула разочарованная команда.

Но Одиссей, который, за неимением неизданной поэмы, постарался припомнить отрывки коротеньких од, слышанных им в свое время от учителя, счел полезным для своего престижа вызвать большее восхищение у своих подданных.

“Конечно, вы правы, о матросы, — сказал он, — и это четверостишие, повторенное человеческим голосом, кажется довольно посредственным. Однако, внимая этому четверостишию, вы услышали бы нечто совсем иное. Четыре слова рыжей сирены, доходя до ваших ушей, внезапно превращались в странную песнь, терзавшую сердце; каждое из них было ключом к неизвестной нам эпохе. Перенесясь далеко от Греции и от нашего блистательного времени, вы видели себя живущим три тысячи лет спустя в пестрой стране галлов, в маленьком городке без префекта, где непостижимое пристрастие к ловле раков и катанье пасхальных яиц на зеленых лужайках были способны внушить вам смертельную тоску! Вот этот отрывок: он так нереален, так ярок, так соткан весь из бликов и лучей, что чувство восторга, вызываемое им, можно передать только терминами оптики...

Я вижу Иссора
Сады, силуэт
Печальный собора,
Которого нет;

И осень — о рок,
Который все губит! —

Трубящую в рог,
Который не трубит;

И тетку Селест,
Что, рдея от злости,
Убила бы гостя,
Который не ест;

Всю юность мою
В тупом захолустьи —
И желчи и грусти
Я слез не таю!”

“Как все чудесно отражено! Как собрано все в едином фокусе призмы! — восхищались матросы, раскусившие уловку Улисса и для которых отнюдь не была тайной его слабость к эпиграммам, способным стяжать ему одобрение слушателей. — Но, о царь Итаки, разве, подобно отражению зеркала в зеркале, вторая песнь, едва коснувшись поверхности твоей души и отброшенная ею обратно, не превращалась в звонкий хохот сирены, и разве в это мгновение нельзя было расслышать ее шаловливо-насмешливых стихов?”

“Вы правы, о лукавые греки, — ответил Улисс, попав в представленную ему ловушку, — я расслышал эпигramму: сирена избрала своей мишенью ту грузную танцовщицу, которую мне некогда привелось видеть в колонском театре и под которой трещали подмостки: это вековая вражда между певицами и балеринами. Ужель, — восклицала она, —

Ужель, о танцовщица Ева,
Театр колонский хуже хлева
И там плясать нельзя никак?
О нет! Акустика — твой враг!”

Но команда уже дремала, и так велика была ее усталость, что никому и в голову не пришло ни снять с Улисса канаты, хотя они были единственной пищей матросов, ни вынуть из ушей восковые затычки. На корабле, плывшем без руля и без ветрил, ни одна душа не внимала рокоту волн, и только Улисс прислушивался, в этот раз без всякой помехи, к чудовищному голосу Океана, этой четвертой сирены.

Довольный тем, что его еще не отвязали от мачты, и словно чувствуя за собой какую-то вину, он с презрением вспоминал о поэтах, которые хвастаются тем, что слышат голоса муз, хотя в ушах каждого из них звучит только людской говор.

“Я-то, по крайней мере, — думал он, — видел их воочию...”

Земля уже исчезла за горизонтом. Заходящее солнце освещало своими лучами правый борт судна, правую половину тел

матросов — тот бок, которым они слегка задели сирен, и от этого прикосновения на нем остался алый след, как на белой руке, получившей ожог крапивы. Корма корабля была залита нечистотами, а нос сплошь обагрен кровью. Паруса безжизненно повисли, заплеванные илом и пеной. Только теперь Элпенор, докурив трубку, поднялся на палубу. Бурные волны яростно накидывались на судно. Пошатываясь, он улыбался, благодарил небо, даровавшее столь спокойный день, столь мирный вечер и, охватывая взором все пространство от бушприта до руля, мысленно восклицал:

“О любезный сердцу, о прекрасный корабль! Как блещет он чистотою! Какую радость это зрелище доставило бы родственнице нашей, домоправительнице Эвриклее, дочери Опса, сына Пейсенора!”

Смерти Элпенора

“Кипучий Улисс, — возвестила нимфа Эклиссе, служанка Цирцеи, — вот уже день, прекрасный, как ночь. Но госпожа моя еще не готова. Садитесь завтракать, не дожидаясь ее”.

“Надеюсь, она ничем не больна?” — сказал Улисс, чтобы поддержать разговор, и улыбнулся, так как ему нравился в Эклиссе неизменно неудачный подбор эпитетов и метафор.

“Восхитительный Улисс, — ответила возмущенная нимфа, — разве больно восходящее солнце, подобное единорогу?”

“Конечно нет”.

“Разве болен полумесяц, похожий при своем появлении на тутовое дерево, кишащее шелковичными червями?”

“Он чувствует себя великолепно, — ответил Улисс. — Но будь добра, Эклиссе, позови моих провиантмейстеров, Эврилоха и Перимеда. Ты найдешь их на моем корабле, а по твоим ногам я вижу, что дорога к нему тебе знакома”.

В самом деле, розовые ступни Эклиссе, к которым пристали блестящие береговой слюды, сверкали, как усеянные осколками стекла и черенками огороды в предместьях больших городов. Или как статуя, которую литейщик вынимает из бронзовой формы и которая покрыта тонким слоем песка, перемешанного с отрубями, чтобы отливку легче было отделить от модели. Разумеется, Эклиссе теперь уже не угрожала опасность прирасти к земле, послужившей прообразом при сотворении человека, но ее прекрасные ноги приобрели перламутровый оттенок под взорами Улисса, и, вероятно, желание отвести от себя эти взоры побудило ее удалиться. Она вышла, пятясь, как из уважения к герою, так и из боязни, что

глаз его может заметить не только родинки, но и песчинки на ее жирных плечах.

“Не ее вина, — снисходительно подумал Улисс, — если эта крошка любит богоподобных (она непременно так выразилась бы) мужей”.

Облокотившись на стол, он, казалось, всматривался сквозь черные ели в море Цирцеи, на котором никогда не встретишь ни одного судна, но сквозь темные свои ресницы он видел лишь Итаку, где нет пастбищ для коней. Затем, забавы ли ради или выполняя лежавший на нем долг, подобно певцу, натягивающему струны лиры, после того как он из учтивости дал поиграть на ней девственной дочери своих хозяев, Улисс, подхватив метафоры Эклизе и влагая в них новый смысл, напрягал их до последнего предела.

“Вот подымается солнце, — вполголоса грустно говорил он, — круглое и красное, как глаз. Вот оно, желтое с белым кольцом вокруг него, похожее на яйцо. Вот рог месяца, выступающий наполовину из-за пурпурного склона холма, как клык пантеры из-за ее окаймленной перламутром губы. А я, Улисс, подобно Пенелопе, каждую ночь на ложе Цирцеи уничтожаю планы, которые создаю днем. Послушайте, как она смеется наверху, меж тем как служанки досуха вытирают ей тело, растягивая его, словно новую канву”.

Он задумался и, так как Цирцея еще не шла, протянул бродившей вокруг стола львице тарелку волшебницы, до краев наполненную теплой амброзией. Затем предложил ей нектару, но она попятилась, зарывчав, как пес, которому солдат подносит стакан вина. Прислонясь к столбу, Эклиссе потирала одна о другую свои прекрасные ноги, купая их в лучах солнца, точно так, как это проделывают в студеной воде родника де-вы Сидона.

“Вот, — возвестила она, — подобный тигру Эврилох и подобный льву Перимед”.

Оба приветствовали героя — рыжий, лощеный, похожий на ласку Эврилох и черный, как смоль, приветливый, похожий на бобра Перимед.

“Божественный Улисс, — громко спросили они, — какой совет можем мы подать тебе? Ведь ты живое воплощение совета”.

“Богац, — ответил Улисс, — как бы велико ни было его богатство, обладает только своими сокровищами. Обманутый супруг (сколько раз могла оказаться не на должной высоте его бдительная супруга!) получает в удел только позор. Но мудрецу, помимо его собственной, принадлежит и мудрость других людей. Вы оба должны сегодня возвратить мне слова и обра-

зы, которые я ежедневно вкладывал вам в уши и в глаза, как в две мои копилки!”

Так сказал он, и они смиренно стали трясти полулысыми головами, из которых ничего не выпадало; голые черепа их, правда, отбрасывали на Улисса солнечные блики, но блики эти были бледнее зайчиков, отбрасываемых старым зеркалом.

“Вам известно, — продолжал Улисс, — что сегодня мы отплываем не к прекрасным берегам, а в Аид, где Тиресий мне объявит, что отныне только один остров может представлять для нас угрозу — выпукло круглый остров, на котором Фебовы стада пасутся, рассеявшись по прямой линии от центра к берегу: чем дальше животное находится от моря, тем медленнее щиплет оно траву; бык же, стоящий посредине, вращается на месте. Мы отчаливаем с наступлением сумерек, чтобы наши матросы не заметили перехода от ночного мрака к мраку Эребба. Но Цирцея, притворяющаяся, будто одобряет наше путешествие, в действительности решила восстановить против нас силы, от которых зависит благополучное странствие. От Эклиссе я узнал, что в буфетной для вас приготовлено к завтраку двадцать четыре чаши со сливками, поев которые, вы вообразите себя богами, и двадцать пятая, предназначенная мне, чтобы я счел себя Зевсом; кинув взор на землю, Олимп увидит карикатуру на самого себя. Ступайте же в буфетную, возьмите чаши и бросьте их в море. Если дельфины и скорпены начнут после этого бредить, ответственность падет на Нептуна, но он ведь наш враг”.

“Божественный Улисс, — воскликнули советники, — безумец тот, кто желает быть богом! Пока мы живы, мы не устанем твердить: безумец всякий, кто хочет быть бессмертным!”

Они уже устремились в буфетную, но царь Итаки удержал их:

“Одну минуту, друзья мои. Теперь-то и время проявить вашу мудрость. Какого вы мнения об Элпеноре?”

“А ты сам что думаешь о нем, хитроумный Улисс? Нас на мякине не проведешь: мы не хотели бы высказать мнение, которое в точности не совпало бы с твоим”.

“Одна лишь откровенность мне по душе, — ответил Улисс. — Я ненавижу Элпенора. Говорите же без всякого стеснения”.

“Мы ненавидим его! — воскликнул пылкий Эврилох. — Стрела, оцарапавшая Филоктету колено, вонзилась Элпенору в грудь — что после этого можно сказать об его дыхании? Ноги у него кривые, и, когда он ходит, можно подумать, что он между ними катит шар Атласа. Я уж не буду говорить о перхоти, которая, падая с его лысого черепа на голые плечи, по-

крывает их к утру точно гололедицей. Но ты, Перимед, чье тело менее изнежено, чем душа, каково твое мнение об Элпеноре?”

“Я не знаю, — неспешно ответил Перимед, — ни что думаешь о нем ты, божественный Улисс, ни что думает о нем Эврилох... Я-то ненавижу Элпенора! И не потому только, что он трус. Было бы лицемерием, если бы мошенник и лжец обнаруживал мужество. Но после восемнадцати лет пребывания на корабле он путает правый борт с левым, и, когда я подаю гребцам команду ‘весла вверх’, он подбрасывает в воздух свое весло. В метании диска он плетется в хвосте у всех; что же касается борьбы, ему удастся укладывать на обе лопатки только ленивую Эклиссе. Когда тень большой смоковницы на берегу уже сбегает прочь, я замечаю в полдень следы их тел на песке, образующие нечто вроде вензеля, правда, не слишком отчетливого! Но так уж устроены женщины: их пленяет самый нескладный из мужчин, и только слабость способна покорить их!”

Так говорил ревнивец Перимед, подобно бобру сооружая прочную плотину, чтобы не захлебнуться волнами собственной горечи. Но Улисс перебил его:

“О Перимед, оставим Эклиссе в покое. Но вот, когда я мысленно прищуриваюсь, как прищуривается близорукий, чтобы все, о чем я думаю, предстало мне в уменьшенном, но более четком виде, и, когда я собираю на дне своей памяти, как в фокусе вогнутого изумруда, море, кораблекрушения и наши нескончаемые скитания, мне начинает казаться, что не Рок, а Элпенор сыграл во всем этом решающую роль. Он источник всех наших несчастий. Мрачные призраки богов, среди которых мы, бедные греки, протискиваемся с таким трудом, для него — простые кегли, и он задевает их с такой изумительно последовательной и неизменной неловкостью, что я боюсь ему противоречить, чтобы не оскорбить какого-нибудь бога дураков. Ибо кто лил вам в уши кипящий воск и заставил вас реветь так громко, что вы заглушили для меня пение сирен? Кто разбил вдребезги доспехи Ахилла, в оправдание свое утверждая, что они сделаны из хрусталя? Всегда первый, когда дело идет о каких-либо проказах, всегда последний, когда нужно отправляться в путь, кто даже на этом острове первым был обращен в брова и не захотел возвратиться в человеческое состояние, не испытав сначала промежуточных, по его мнению, форм существования, не побывав в чешуе щуки и шкуре шимпанзе?”

“О Улисс, — сказал Перимед, — это Элпенор”.

“Не перебивай меня, Перимед. Бесполезно отвечать на риторические вопросы! Кто же, скажите, ссылаясь на то, что его тошнит, заставил нас причалить к острову киконов? Мор-

ская болезнь у спутника Улисса! Кто предложил нам пристать к берегу, якобы населенному его родственницами, приветливыми дочерями Мелада, в действительности же кишевшему ужасными лестригонами? Кого в пещере циклопа мы застигли продавающим нитку в иглу, чтобы зашить веки исполину?”

“Элпенора!” — не мог удержаться от восклицания Перимед, но сразу замолк под угрожающим взглядом героя.

“Мне это наконец надоело! — заявил Улисс. — Сегодня ночью мы очутимся в Аиде. Там нечего будет ни разбивать, ни задевать, но некий дух говорит мне, что в царстве теней неловкость еще более нечестива, чем где бы то ни было, ибо в Аиде она не влечет за собой ни шума, ни зримого ущерба. Надо постараться, чтобы Элпенор не сел с нами на корабль, и вы оба...”

Но в эту минуту неожиданно появилась Эклиссе, нагая, взволнованная и перепуганная до такой степени, что даже неверные метафоры отказывались приходить ей на пунцовые уста, и раздраженный Улисс сам должен был договаривать за нее фразы.

“О владыка, — стонала она, — руки у меня опускаются, как, как...”

“Ветки, перегруженные плодами, — быстро dokonчил Улисс. — Что случилось?”

“О царь Итаки, я пропала, пропала, как, как...”

“Как девичий стыд, как связка ключей, — подсказал Улисс. — Но в чем же дело?”

“О Улисс, кто-то похитил две чаши! Двое твоих товарищей вообразят себя богами и оскорбят этим мстительных своих собратьев!”

Улисс побледнел.

“Ты, Перимед, — распорядился он, — ступай удержи Элпенора и запири его на замок. Он наверняка один из двух провинившихся. А мы, любезный Эврилох, постараемся открыть второго и ему помешаем нам причинить вред”.

Находясь в возбужденном состоянии, он не смущаясь переставлял дополнение, выражаемое местоимением.

Эврилох немедленно выстроил в две шеренги своих двадцать четыре матроса, и Улисс тщательно всматривался в каждого из них, стараясь, подобно тому как по пузырькам определяют кипение воды, уловить в их взгляде или в дыхании тот легкий пар, по которому узнается присутствие бога. Иногда он почти вплотную приближал глаза к какому-нибудь подозрительному месту на их теле, к рубцу или синяку, как это делает эксперт, исследующий подпись.

“О Зевс, — мысленно восклицал он, — прости меня! Я не могу обнаружить виновника! И не потому, чтобы эти люди ка-

зались мне лишенными всякой печати божественности! Со всем напротив! Они почти утратили человеческий облик за двадцать лет лишений, вынужденных постов и разгульных попок. Бурные волны самых пустынных морей, сдвиги почвы в самых скалистых местностях заставили их утрястись и затвердеть подобно мешкам соли, теперь они находятся на самом низком культурном и умственном уровне. Тем не менее среди них нет ни одного, при взгляде на которого я отважился бы заявить: “Друг мой, ты не бог!”.

Он повернулся к своему провиантмейстеру.

“Ну, мой бедный Эврилох, что скажешь ты?”

“Ощупаем их, Улисс. Это вернейшее средство узнать бога, не говоря уж о богинях, ибо, смотря по тому, чью чашу выпил виновник, у нас во взводе, пожалуй, может оказаться Венера!”

Он уже полез за пазуху старому Кроку, сыну Орхея, и тот даже подпрыгнул от неожиданности, когда в саду раздалось эхо пререкающихся голосов, затем послышались и самые голоса спорщиков, а через минуту появился Перимед, подталкивая вперед Элпенора, странного Элпенора. Правой обнаженной рукой он потрясал лук, в левой же, через которую были перекинута тигровая шкура и шкура пантеры, он держал тирс. Лицо его также было разделено на две несхожие половины — светлую и темную, как портреты на вывесках реставраторов старых картин; правый глаз, ясный и жесткий, был устремлен в одну точку, левый же гноился и помаргивал...

“Боги мои! — воскликнул Улисс. — Он выпил обе чаши”.

Между тем Элпенор, левым углом губ радостно приветствуя товарищей, начал отплясывать пэан левой ногой, на которой вздувались багровые жилы, правая же, белая, словно игральная кость, негодуя застыла в воздухе.

“Я Диакх, — ревел он время от времени, — я не кто иной, как сам Диакх!”

“О коварная Цирцея! — сокрушался Улисс. — Он осушил чашу Дианы и чашу Вакха!”

Мало-помалу левая половина тела у всех матросов — они и не подозревали этого — покрывалась тенью, а правая постепенно светлела.

“Уведите его, — приказал царь Итаки, — если только среди вас нет никого, кто так уверен в своем искусстве владеть мечом, что мог бы безбоязненно рассечь Элпенора на две равные части. Если Вулкан провинился тем, что представил на посмешище богам Венеру и Марса, приковав их друг к другу железными цепями, то какой гнев небожителей навлечет на нас безумец, решившийся явить людям зрелище гнусной прививки — сочетание самой Стыдливости и бога Вина, спаян-

ных воедино человеческой плотью! Возьмите Элпенора, втащите его на кровлю дворца и напоите вином, чтобы он заснул”.

Они поспешили исполнить приказание и, подхватив, подняли его на воздух за обе левые конечности, ибо если помогать Вакху есть дело богоугодное, то ни один из смертных не осмелится прикоснуться даже пальцем к драгоценному, хотя бы и ложному достоянию Артемиды.

Едва вернулись они обратно, как показалась Эклиссе. Она плакала крупными слезами: они скатились бы ей на колени, ибо она была совершенно нага, но она вытирала их на животе, самом чувствительном месте ее тела. Продолжая рыдать, она бормотала нечто невнятное; присутствующим удалось уловить лишь слова “землеподобное” и “белые кони”, из чего Улисс заключил, что она говорила о море и что черные бараны, предназначенные для угощения обитателей Аида, уже погружены на корабль.

“В путь!” — приказал он.

“Весла вверх!” — весело скомандовал Эврилох, уже не опасаясь, что Элпенор при этом подбросит свое весло в воздух.

Но в тот момент, когда трирема поворачивалась, причем поднятые кверху весла левого борта были окрашены пурпуром заходящего солнца, а опущенные книзу весла правого борта белели в лучах луны, и все судно, казалось, было одержимо присутствием двойного божества, приводившего его в движение, воздух задрожал от чудовищного вопля, человеческого и божеского, мужского и женского...

Перимед, обладавший зорким зрением, крикнул с высоты реи:

“Элпенор покончил с собой, о Улисс! Услышав, что мы снимаемся с якоря, он кинулся с крыши вниз головой!”

Корабль уже отчалил, и даже Перимед теперь не мог бы разглядеть, как мало-помалу тают бледность и яркий румянец на лице Элпенора, как постепенно пропадают его изящество и сила, как в смертной тени тело приобретает однообразную окраску, одинаковые очертания, подобно двум несхожим при дневном свете деревьям, чьи контуры сливаются, отразившись вечером в зеркальной глади озера: от смешения двух божественных сущностей уже ничего не осталось, кроме жалкого человеческого трупа.

Они уже переправились через страну киммерийцев, опоясывающую Аид; обитатели этой области имеют тень вместо тела и тело вместо тени, Улиссу стоило немалого труда пожать настоящую руку их царю. Уже на прибрежном песке, кото-

рый ни одна Эклиссе не отмечала отпечатком своих плеч, черные бараны и овцы истекали густой кровью. Их челюсти стиснула смерть — намордник всех существ, приносимых в жертву, — но когда Эврилох перемещал тушу, из узкой раны, отныне единственного ее рта, вырывался вздох.

За спиною Улисса расстилалось свинцово-бледное море, казавшееся перевернутым, ибо гребни полых волн были обращены книзу. Перед ним ужас и мрак до такой степени срослись воедино, что он не мог определить, кто же из них двоих завладел скипетром другого. Там раздавался лай семи псов, но он исходил из одной только глотки. Гравий скрежетал под колесом Сизифа, и эти звуки напоминали зловещую музыку, сопровождающую в утро понедельника пробуждение гуляки за городом. Перимед и его товарищи, наощупь отыскивая ме-хи, неверными руками наливали мед и вино. Подобно тому, как уснувший циклоп думает о своем глазе, они все время думали о солнце и хлопали себя по безокому лбу, ударяя ладонью в самую середину.

Вдруг в каждой кости их застыла жизнь, словно мозг: легкое племя теней подымалось из глубин Эреба. Тысячами выходили они наверх, подхваченные гибкими крылами стонущего ветра. Малейший луч костра прохватывал весь их сонм до последнего. Это были призраки, единственным остовом которых оставалась их наибольшая добродетель или наибольший порок — гордость, сладострастие, безумие. Они проникали друг сквозь друга, привлеченные запахом жареного мяса. Они бессильно сражались, беззвучно умоляли, сбившись в кучу вокруг двадцати четырех бледных лиц, чьи недвижные взоры пронизывали их насквозь, как вспышки пламени, затем, завидя кровь, они с чудовищным ревом набрасывались на нее.

Улисс, размахивая мечом, отгонял их. Иногда он поражал кого-нибудь из них, и призрак вздрагивал — единственное страдание, доступное теням. Порою, подобно тому, как взгляд, отвращающийся от блестящих предметов, замечает на белой стене картины прошлого, он различал в толпе образы родных и близких, которых он дольше, чем других, наблюдал преисполненными жизни и дружбы и которых считал еще живущими на золотимой солнцем земле: и Агамемнона, и достопочтенную мать его Антиклею, дочь Автолика... Но Тиресий первым должен был напиться из ямы, и Улисс не допускал к ней никого другого.

Однако одна тень упорно стремилась пробиться вперед, уклоняясь от ударов меча и, точно на поединке, прибегая к ложным выпадам. Иногда Улисс поражал ее, но она, оттрепетав, снова как ни в чем не бывало переходила в наступление,

осыпаемая презрительными насмешками своих подруг. Она ползала по земле, реяла в воздухе, не давала царю Итаки ни минуты покоя и вдруг, опустившись на него, словно туман, покрыла собой все его тело, слилась с ним, задвигала его руками, заговорила его ртом:

“О Улисс, — сказала она, — неужели ты не узнаешь своего сына?”

Улисс вздрогнул... и испытал боль, которой подвержены одни лишь тени.

“Возлюбленный Телемах, — вскрикнул он, зарыдав, — ты ли это?”

“С чего это ты вообразил, что я Телемах? — ответила тень. — О Улисс, я Элпенор. Без паруса и весел я опередил твое судно. Сгорая от нетерпения последовать за тобою, я кинулся с крыши, но все же думал, что прибуду сюда вторым, а не первым!”

“О Элпенор, — обратился к нему рассвирепевший Улисс, — о ты, наверху ежедневно омрачавший мое лицо, а теперь омрачающий все мое тело, уходи прочь! Или объясни, чего ты хочешь?”

“Чего я хочу, Улисс? Того, что мне полагается по праву. Ты, значит, забыл, что оставил мое тело непогребенным? Чего я хочу? Я хочу торжественных похорон. Поклянись Плутону, что вернешься ради меня на остров Цирцеи, или я не отпущу тебя”.

Пока Элпенор говорил, Улисс замечал одну за другой тени, ради которых он шагнул за непреступаемый порог.

“Клянусь, — с сожалением произнес он, — но исчезни. Уходи прочь! Я вижу, ко мне приближается тень Тиресия”.

Но при этом имени тень Элпенора, уже отделявшаяся от разгневанного Улисса, как мясистое кольцо на шее раздраженного ястреба, снова опустилась на него.

“Тиресий! — воскликнул Элпенор. — Тиресий! Единственный, кто был одновременно мужчиной и женщиной, единственный, кто может судить о достоинствах обоих полов! О Улисс, представь меня ему! Женская проблема всегда занимала меня... Прелестный зверь, которого мы удерживаем при себе посредством ошейника, но без своры! Счастливое существо, сочетавшее в себе розу и лилию, но дотронься до ее лица, и на пальцах у тебя останется тончайшая пыльца, словно ты схватил за крылышки умирающего мотылька! Представь меня, о владыка, Тиресию! Пускай хоть в Аиде я узнаю, почему Эклизе, хотя мы оба были свободны весь день, настаивала на свидании в строго определенный час, но никогда не являлась вовремя!”

“Убирайся, — приказал Улисс вне себя от ярости, — сюда идет Ахилл”.

“Ахилл, о Улисс! Тот самый, которого ты распознал в женском одеянии, насквозь пропитавшем Патрокла женскими духами? О Улисс, познакомь меня с Ахиллом! Подумай, ведь я один очутился сегодня утром на пороге Аида, как младенец, подкинутый на крыльцо храма. О государь, познакомь меня со всеми героями Трои, сражавшимися на колесницах и столько раз сбивавшими меня с ног, — теперь они, подобно мне, жалкие пешеходы на зловещей тропе теней! Представь меня им!.. Ах, почему я забыл со времени войны все собственные имена?.. Ах, Улисс, я прирос к тебе, как плащ, подаренный Медеей сопернице... Кстати, вот одно имя... Представь мне Медею! И ту высокую женщину (какого цвета были ее волосы? со времени войны я путаю цвета!), которая бросилась тебе в объятия и осыпала тебя поцелуями, когда мы напали на дворец Гекубы... Представь мне в случае надобности Гекубу!.. Неужели ты стыдишься Элпенора? Я знаю, что был глуп, неказист на вид и громко чавкал во время еды, но тут ведь нет никаких пирушек, да и стоит ли умирать, если призрак разума и призрак глупости отделены здесь тою же пропастью, какая существовала там наверху между разумом и глупостью... Нет, я не расстанусь с тобой!”

Волей-неволей Улиссу пришлось представить Элпенора самой Елене, и она улыбнулась матросу — самой свежей тени, еще сохранившей запах жизни.

Между тем Цирцея, выйдя из чертога с намерением встретить возвращающегося Улисса, наткнулась на труп Элпенора. Это был первый покойник, которого она видела. Эти безжизненные останки, над которыми она уже не имела власти, внушили ей то же отвращение, которое испытывает живописец к засохшей краске. Всякий раз, когда игралищу ее, человеку или животному, предстояло умереть, она превращала его в существо меньших размеров, но более молодое и долговечное, благодаря чему окрестности ее дворца были населены одними попугаями да черепахами.

Ей, кроме того, было известно, что хотя всякий смертный — ничтожество, однако память о самом незначительном из людей уничтожает в любой стране след, оставленный величайшим из богов, и что остров Цирцеи может, благодаря самоубийству матроса, сделаться однажды островом Элпенора. Она обратилась поэтому к Зевсу с мольбою вдохнуть на несколько часов жизнь в мертвое тело — ровно столько жизни, сколько надобно, чтобы растянуть на сто лет хрупкое сущест-

вание ворона, и устранить как можно скорее опасность, угрожавшую ее славе...

Зевс колебался, ибо впервые слышал звонкое, но ничего ему не говорившее имя Элпенора. Как раз в это время Улисс, возвратившись со своей командой в полном составе из царства, откуда никому не бывает и не будет возврата, приказал возложить на костер обмытое и умащенное тело Элпенора и приступил к надгробной речи, которую произносил наизусть на похоронах своих матросов, украшая покойника, как бы заурядно ни прожил тот свою жизнь, исключительными добродетелями и приписывая ему все стихи и открытия, автор которых был неизвестен. Так поступал он, во-первых, с целью придать бодрости живущим, и, во-вторых, движимый неподдельным чувством доброты, зарождающимся в сердце каждого из нас, когда мы видим бездыханно простертым, утратившим всякий вкус к жизни того, кто еще накануне с аппетитом уплетал жареного барана.

“О Зевс, — начал он, — ты, жалующийся на то, что тебе приходится всякий раз нагибаться, чтобы рассмотреть у смертных что-нибудь, кроме курчавых и непроницаемых для взора кругляшек, ты, чьи взгляды скользят по наклонной плоскости умоляющих лиц, сегодня ты можешь созерцать спереди во всем его величии и совокупности, включая даже дугообразные ноги его, похожие на рога жука-оленья, самого знаменитого из наших товарищей. О друзья мои, сдержите на мгновение ваши слезы, крупными каплями падающие на его умащенное тело, и крикните Зевсу, кого среди всех обитателей Итаки, кого среди всех греков вы хотели бы больше всего видеть живым!”

“Элпенора, о Зевс!” — воскликнули голоса, и среди них Зевс различил пронзительный голос Перимеда, первым дошедший до Олимпа. Он счел уместным ответить на него громом, благодаря чему имя Элпенора впервые было окружено небесным гулом.

Не так ли иногда застревает в бронзовом щите случайная песчинка?

“Кем был Элпенор, о Зевс? — продолжал Улисс. — Спроси-ка лучше, кем он не был! Он был нежным сердцем в сердце стальном, избранной душой в несравненной оболочке; каламбур с трудом удерживался у него под нёбом, как толстый язык во рту попугая. Что же еще сказать об его находчивом уме? Ведь это он, каретник, изобрел тачку, а затем, укрепив на козлах, превратил ее в точильный станок; он же изобрел и кровать, единственное вместилище, общее богам и людям! Ведь это он, банкир, в день седьмого сбора золота подал мысль

принимать фракийские купоны в уплату половины причитающегося взноса. Ведь это он, поэт — автор прославленных стихов: ‘Мой дух загадок полн, а жизнь во власти тайны’ и ‘Какая же цена всему, что не бессмертно’! Кстати, дети мои, спойте-ка строфу, которую он напевал, расписывая троянского коня. Но сначала прочтите хором эпиграмму, которую он посвятил Гераклу в тот вечер, когда этот бог поведал нам подробности своей схватки со львом в Немее; сын Алкмены, хотя он и хвастлив, как все охотники, покатывался от хохота, услышав это двустишие”.

Так сказал он, и все продекламировали, следя за Перимедом, отбивавшим такт:

Геракл, излишни все слова! —
Бельфорского осилил льва.

Затем они томно затянули жалобную песнь, которую долгими ночами поет кормчий в час, когда лица всех кормчих озарены светом одной и той же звезды:

Эклизе, Эклизе,
За кормой плещет пена,
Мы вели себя все,
Как велела Елена.

Прелестное веретено
И ножницы — девичья доля:
Ах, Эклизе, как дивно поле,
Хоть сжато без серпов оно!

Все плакали. На пороге их ноздрей и глаз скапливался дым зеленых ветвей, и оттуда, как выгнанный из норы барсук, вырывалась наружу мрачная скорбь.

“Благодарю вас, товарищи, — промолвил Улисс. — Скажите теперь Зевсу, какое имя, если бы нам дано было видеть одного из героев осады покинувшим царство, откуда никто еще не возвращался, какое имя слетело бы с ваших уст? Имя Аякса? Имя Ахилла?”

“Это было бы имя Элпенора!” — воскликнули матросы, и голос Перимеда перекрыл все остальные голоса.

Так умолял владыку мира Улисс, уверенный в том, что труп не может снова ожить, что рок неотвратим и что трем ужасным девам, разматывающим и перерезающим пряжу жизни, никогда еще не удавалось затянуть петлей или скрепить узлом однажды оборванную нить.

Но Зевс, тронутый столь глубоким горем, возвратил жизнь Элпенору, умершему было навек, и тот восстал на своем костре, впервые с момента своего появления на свет дочи-

ста умытый и умащенный: два дня, проведенные им во мраке Аида, только придали мягкость его коже, как будто он провел их в бассейне для плавания.

[201]

ИЛ 6/2024

Все было кончено. Элпенору захотелось снова повидать свою родственницу, прекрасную Лампеттию, сторожившую священные стада, и с наступлением ночи, посулив кормчему, в виде награды, благосклонность второй пастушки, Фаэтузы, он уговорил его направить судно к острову Солнца. Так не страшен Феб тому, на кого пал взор Дианы!

Все было кончено. Священные быки были заколоты и, хотя жареное мясо их продолжало издавать скорбные стоны, несчастные спутники Улисса все еще сидели за своей последней трапезой и только удивлялись упорному молчанию невинных блюд — бекасов, рыб и оладий с овощами...

Увы! Молния вдребезги разбила их корабль: четырежды завертевшись вокруг своей оси, как на маневрах испанское судно, когда с него дали одновременные залпы из орудий обоих бортов, он пошел ко дну, и матросы, словно морские птицы, всплыли над пучиной. Сначала все их тела держались на поверхности воды, и они походили на лебедей; затем можно было различить только их головы, напоминавшие диких гусей; потом лишь несколько рук взметнулось там и здесь, подобно морским ласточкам, и вскоре по волнам носился один лишь Улисс. Саженками он быстро поплыл к обломкам корабля и уже почти достиг цели, как вдруг кто-то с силой обнял его за шею.

“О Нептун, — пробормотал он, — неужели тебе нужно хватать меня в охапку? Борьба между нами ведь неравная. Ты один твердой стопою упираешься в бездну!”

“О Улисс, — ответил жалобный голос, — не враг обнимает тебя, а друг, вернейший друг, Элпенор!”

Царь Итаки с яростью отбивался от него.

“О Улисс! Сын Лаэрта! Внук Аркесия! Сжался надо мной!” — умолял Элпенор.

И подобно тому, как неоднократно бросают на берег причальный канат, пытаясь укрепить его на прочно врытом в землю столбе, он старался выискать среди предков Улисса такого, который помог бы ему пробудить сострадание в сердце героя. Это было, по-видимому, тщетно. Он, однако, не отпустил затылка своего царя, ибо единственной точкой опоры в мире был для него этот носившийся по волнам герой.

“Отпусти мою голову!” — кричал Улисс.

“О Улисс, именно к ней обращаюсь я с мольбой, ибо хочу быть обязанным жизнью наиболее божественной части твоего тела. Будь ты Аяксом, я уцепился бы за твою длань, будь ты

Ахиллом — за твою пяту, будь ты Латоной — за твои перси. ‘Блаженный Элпенор, — будут отныне говорить греки, — подобно Палладе, родившейся из головы Зевса, он под молотом бури родился (правда, совершенно нагим) из головы Улисса, из самого мозга Эллады!’”

Улисс выбивался из сил, и, подобно тому, как нильская лосадь, на спине которой птицы отыскивают себе корм, опускает в воду широкую морду, чтобы избавиться от последнего приживала, он нырнул, желая навсегда отделаться от своего последнего матроса.

Но Элпенор успел уцепиться за его лодыжки.

“Спаси меня, Улисс, — твердил он, — или научи меня плавать! Спаси меня, или я не отпущу твоих ног и, сведя их, как ножницы, помешаю тебе вспарывать ими пенистую пелену. О владыка, ты был прав, и я понимаю твою ярость! Теперь с мольбой о спасении я обращаюсь к самой недостойной части твоего существа, к пальцам на ногах, к сухожилиям... Точно так же я ухватился бы за голову Аякса, за перси Ахилла, за сердце Терсита!..”

Его голос внезапно заставил Улисса смягчиться. Вспомнив о предсказании оракула, возвестившего ему, что он вернется в Итаку, и притом один, он был готов даже пожалеть несчастного, которому тот же оракул предрек гибель.

“Бедняжка Элпенор”, — вздохнул он.

“О дорогой Улисс!” — заорал Элпенор вне себя от радости.

“Славный Элпенор”, — продолжал Улисс.

“О возлюбленный царь, о жизнь моя!” — восклицал Элпенор, задыхаясь от избытка признательности.

“Мой бедный толстячок Элпенор”, — ласково промолвил Улисс.

“О врата сердца моего, о двигатель души моей!” — вопил Элпенор, в припадке восторга не находя уже ничего, кроме слов любви.

Но обольщенный лживой улыбкой судьбы, он в восхищении развел руками, выпустил ноги Улисса, оторвался от него и пошел ко дну. Он погрузился совершенно отвесно, и радость, преисполнившая его, оказалась тяжелее, чем мясо священных быков в желудках его товарищей.

Над пучиной, поглотившей Элпенора, всплыло, как это бывает в тех случаях, когда подводное чудовище получает пробоину, жирное пятно, переливавшееся на солнце цветами радуги, ибо перед погребением его тело обильно умастили маслом. И Элпенор, всегда бывший на земле источником тревожений, вдруг на протяжении нескольких локтей успокоил собою бушующее море.

Это явилось спасением для Улисса, который получил возможность добраться до обломков судна; сначала воспользовавшись гжатнем, затем слемнем, он весьма удачно проделал те мореходные операции, которые излагаются переводчиками, в целях облегчения задачи читателя, исключительно при помощи технических терминов: он заштафелил гикель в корь, потом, прилеерив слегу, омарудил хребтину — и был спасен!

Целую неделю носился он без паруса, по воле волн, и океан, окружавший его со всех сторон, был так пустынен, что ни одна метафора не возникала у него в мозгу, не срывалась с его уст, не облегчала его горестных мыслей. Солнце сверкало, подобное только солнцу. Луна, подобная только луне, сияла, бледнела... Покачиваемый, подбрасываемый, золотимый днем, серебримый ночью, Улисс иногда хватался руками за лодыжки, на которых пальцы Элпенора оставили отпечаток в виде красных колец. Он сожалел теперь о бедном упрямец, навязанном ему судьбою в спутники, как сожалеет о самом ничтожном из своих корней уносимый потоком дуб.

Новые смерти Элпенора

Алкиною явилась Минерва.

“Алкиной, — сказала она, — буря выбросит на твой остров Улисса. Волны вынесут его к плотомойне твоей дочери. Я хотела бы, чтобы Навсикая была в это время на берегу и встретила его. Но пускай ни одна душа не ведает, кто он, этот потерпевший кораблекрушение. Напротив, дай ему возможность самому открыть свое имя и лишь в минуту отъезда представиться твоим подданным. Я сообщаю тебе это по секрету: сами боги ничего не должны знать об этом”.

Так говорила Минерва на своем бесстрастном языке, над которым не властны ни эпитет, ни метафора, на котором замирает восклицание, икота аффекта. Любопытнее всего то, что ей казалось, будто она до конца выражает свою мысль, нежную, яркую мысль, прерывавшуюся ахами и охами, звучавшую внутри нее так:

“Ах, мне хотелось бы, чтобы Навсикая была в это время на берегу и встретила героя в эту тягостную для него минуту. Ах, я обожаю видеть, как первый взгляд Улисса, после только что пережитого смертельного испытания, останавливается на прекрасном теле: я люблю его самым целомудренным образом. Я обожаю видеть, как рука Улисса, целый день борющаяся с волнами, впивается в человеческую плоть: я люблю его,

как брата. Ах, я обожаю слышать, как, избавившись от смерти, он шепчет юным девушкам слова привет, имеющего двойной смысл, ибо он приготовил его для подземной тени, — привет, создающего у них впечатление, что на них трико, если они голы, и что они голы, если их тела покрыты одеждой: это мое дитя...” и т. п.

Но боги похожи на людей. Только те из них, кто одарены чувством стиля, умеют критически относиться к внешней стороне своей речи.

Алкиной созвал своих подданных.

“Эй, народ! — крикнул он. — Все ли вы в сборе?”

Это был единственный недостаток, в котором народ упрекал Алкиноя. По два, по три раза в день собирал он своих подданных. Он хотел, чтобы на малейшую мысль монарха весь народ откликнулся шумным топотом. Население острова больше всего боялось, как бы он не начал размышлять по ночам.

Впрочем, в качестве хороших моряков феакийцы мирно сходились на дворцовую площадь, как на упражнения по спасению на водах, и выстраивались: один — поближе к кофейне, другой — рядом с феакийкой, призванным в момент очередного волнения играть роль спасательных лодок. Но фиалки и нарциссы царственных цветников радовались этим сборищам, так как они отбрасывали на грядки скудную тень. Нарциссы и фиалки спешили взрасти и благоухать в тени этих человеческих существ, пахнувших рыбой.

“Все в сборе! — ответил народ. — Не хватает только узников, сидящих за решеткой”.

Это было не совсем точно. Не пришли все, кто развлекались или были заняты своим делом. Не хватало хлебопеков, оставшихся в хлебопекарне, философов, погруженных в философию, отсутствующих, находящихся в отсутствии. Но престол Алкиноя был невысок, и благодаря этому царь не мог разглядеть, что внутри отдельных групп не было никого.

“Народ, — продолжал Алкиной, — мне явилась Минерва. ‘Алкиной, друг мой, — сказала она, — ты, чей остров, единственная неизблемая точка вселенной, обнаженный, как алмаз, неизгладимыми чертами запечатлен в зрачках богов, знай, что волны выбросят Улисса на берег, близ плотомойни Карада, недалеко от вершей рыбака Атилея...’ Каким образом Минерва удерживает у себя в памяти такое множество собственных имен, это составляет тайну небожителей!.. ‘После того как море несколько суток пошвыряет его из стороны в сторону, он предстанет тебе весь покрытый грязью и илом. Алкиной, верноподданный мой, пускай никто не знает его имени.

Дай ему возможность самому открыться и лишь в момент отъезда представить твоему народу великого Улисса, на которого тыходишь красотою, мудростью и силой. Боги и те не должны ни о чем догадаться...’ Но что это? В чем дело? Я не вижу среди вас малыша Лейона!”

Малыш Лейон, сын куртизанки и дидактического поэта, в ту минуту занимался ловлей пескарей в прелестной долине. Он торопился, так как с наступлением летней жары поток должен был иссякнуть уже к вечеру, и это был последний день рыбной ловли. Шелестели тополя. Голубые дрозды перепархивали с одной колонны акведука на другую, а кузнечики, падавшие замертво в разгаре своего верещанья, издавали при падении на землю сухой звук, позволявший сразу находить их и отрывать у них на приманку задние ножки.

Лейон приготовил раскаленные валуны, собираясь поджарить на них рыбу. Иногда при взгляде на неодинаковой величины округлые холмы, напоминавшие женскую грудь, он обнимал ольху обеими руками — они у него были похожи на руки отца — и осыпал ее поцелуями, или же, охваченный скорбью при виде воды, которая текла в последний раз, он наклонял над потоком лицо — оно у него было похоже на лицо матери — и ронял слезу в убегающую струю.

Стражи насильно усадили его в повозку, и прекрасные пескари по одному падали на пыльную дорогу, словно слезы или траурные запятые. Удочка, подвязанная леской, одно время выдерживала сильную скачку, и, после того как малыша Лейона доставили на площадь, Алкиной продолжил свою речь.

“О Алкиной, — воскликнул народ, когда монарх умолк, — ты прав, высказывая уверенность, что мы сохраним все это в тайне! Впрочем, кому же мы могли бы открыть секрет, если — мы ведь отлично раскусили твою мудрую уловку — благодаря тебе он стал достоянием всего острова? Это уже не новость, это стало стихией. Разве есть большая тайна, чем тайна всеобъемлющая, чем воздух, окружающий нас, чем море? Мало того: так как забвение поглощает всякую тайну, мы забываем все сказанное тобой. Кончено. С этой минуты наша память уже не хранит ничего... Но, — прибавил народ, исключительно из вежливости и свойственной грекам вычурности, а отнюдь не из желания оспаривать своего монарха, — не боишься ли ты, что погрузившись внезапно в это абсолютное неведение, очутившись вне атмосферы, в которой каждый звук был эхом его имени, ввергнутый в это Улиссово небытие, Улисс в известной мере не рискует и сам забыть, что он Улисс?”

Так сказал народ и запел гимн Тайны — не франоейнов гимн, третий стих которого, приписываемый самому Зевсу, не что иное, как вольная шутка:

О ты, таимая любовью,
О тайна... и т. д. —

но гимн Ахилла Пенфесилее, пятый стих которого является ключом к орфическим таинствам:

Вдали меня парит мой дух,
Бесчувствен ко всему мой слух,
Я погружаюсь в сновиденье,
Едва мое начнется бденье... и т. д.,

после чего все разошлись по домам.

Остался только один старик.

“Все это прекрасно, Алкиной, — сказал он, — но кто такой Улисс? Мы — островитяне и мало интересуемся континентальными знаменитостями. Не зная ничего об Улиссе, мы можем допустить ряд неловких поступков. ‘В присутствии обманутого мужа не заговаривай об абрикосе’ гласит наша пословица”.

“Он прав... Пускай созовут народ!” — крикнул Алкиной.

Герольды опять согнали толпу на площадь. Всадники снова схватили и доставили обратно малыша Лейона, устремившегося было к ручейку, который уже высох в своем верховьи. Дети сновали под ногами у взрослых, бегали на четвереньках, вызывая в толпе волнообразное движение, подобно тому, как это бывает на театральных подмостках, когда для изображения океана мальчуганов заставляют ползать под ковром. Старики помещались в первом ряду, их белые бороды походили на подгоняемую ветром пену, и Алкиной, царь кораблей, с нежностью взирал на это миниатюрное море, состоявшее из моряков.

Он объяснил им, кто такой Улисс, не стараясь приуменьшать в их глазах его достоинства, ибо он был беспристрастен, и только немного свысока, гордясь своими садами, отозвался о флоре Итаки, насчитывающей лишь один вид знаков. Он рассказал им о том, как Улисс разоблачил Ахилла, переодетого в женское платье, обманул и ослепил циклопа, прожил восемь лет у бессмертной нимфы (причем только время старилось вокруг них), но ничто в голосе Алкиной не давало понять, что эти три подвига — в сущности, донос, злоупотребление доверием и прелюбодеяние. Время от времени он прерывал свою речь, желая испытать своих подданных и убедиться, сумеют ли они, будучи застигнуты врасплох, со-

хранить тайну. С этой целью он иногда внезапно окликал кого-нибудь из них:

“Эй ты, там, Кратес! Кто такой Улисс?”

“Улисс? — переспрашивал Кратес, сообразив, что это ловушка. — Какой Улисс? Первый раз слышу это слово. Быть может, ты говоришь об улиссе, которым пригнетают книзу легкие предметы, чтобы они не разлетелись на ветру”.

Это был единственный в истории случай, когда из уважения к славному имени прописная буква заменялась строчной.

Весь народ изощрялся в таких же увертках:

“В самом деле, что означает слово ‘улисс’? Быть может, это оладья, любимое блюдо обитателей Наксоса? Нет, они называют его ‘карнпито’. Что же означает слово ‘улисс’, нет, ‘улив’? Имя, тающее во рту... Имя забытое...”

Тогда Алкиной, гордый сообразительностью своих подданных, удовлетворенно улыбался и, продолжая речь, рассказывал им о Цирцее, впрочем, допуская ряд ошибок в эпизоде с животными, ибо он был столь же несведущим зоологом, сколько знающим ботаником. Он описал им Улисса, собственноручно строящего себе судно на острове Огигии, и феакийцы, судостроители до единого, удивлялись, если здесь уместно это выражение, Улиссе, соорудившему килевую часть из дерева, идущего на мачты. Затем Алкиной внезапно прерывал себя:

“А ты, малыш Лейон? Отвечай! Что такое улисс?”

“Улисс? — громко переспрашивал простодушный и живой Лейон, еще не знавший, каким образом в глазах истории одни и те же деяния, благодаря тому или иному освещению, оказываются то преступлениями, то подвигами. — Улисс? Это нарушивший супружескую верность муж Пенелопы, гнусный друг Ахилла, убийца циклопа!”

Мальша Лейона тут же схватили и так отшлепали по мягким частям, над которыми морской ветерок взвевал тунику, что отпечаток пальцев в этом месте сохранился у него на всю жизнь. Этот отпечаток прозвали дланью Улисса, и Лейон на попойках обычно показывал его.

“Сестры, — сказала Навсикая, раздвинув камыши, — вот чужеземец”.

Навсикае шел шестнадцатый год, и она вступила в него душой и телом, мыслями и ногами, которым было уже полных пятнадцать. Что нравилось ей больше всего на свете? Больше всего на свете ей нравились мужские руки. Иногда одна из ее сверстниц, приводя во дворец брата или родственника, предлагала юноше просунуть руку сквозь затянутую занавесками решетку. Молодой

человек чувствовал, что его руку берет чья-то маленькая ручка, но не знал чья, а это была рука Навсикаи. По мужской руке, а не по своей собственной, она приучалась читать свою судьбу. Иногда Аполлон, брат и приятель Дианы, незримой подруги Навсикаи, забавлялся тем, что тоже протягивал из-за занавески свою руку, в которой линия жизни не имела ни начала, ни конца, линия таланта была шириною в сантиметр, и Навсикая, печальная и счастливая, роняла на слишком прелестную руку, ею оплакиваемую в качестве руки смертного, слезу, которая незамутненно скатывалась по линии бессмертия...

Она как раз держала правую руку малыша Лейона, которому, как и всем пажам, была знакома эта решетка нежности и который левой рукой тихонько потирал “длань Улисса”, когда отец объявил ей о приказании Минервы. Искренне обрадовавшись, она отправилась навстречу чужеземцу.

Ибо она еще наивно верила, что чужеземцы — авторы безымянных поэм, никем не подписанных картин, неизвестных музыкальных произведений и даже руин... Чувствуя, что неизвестные ей области ее собственной души богаче тех областей, куда ей удалось заглянуть, она воображала, что точно так же обстоит дело со всеми прочими смертными, и связывала представления о тайне и совершенстве с людьми далекими, с людьми несуществующими. Ей нравилось испытывать на себе веяние непостижимого, находиться во власти неуловимого: как это странно — иностранец!

Сидя в возке, запряженном способными к деторождению белыми мулом и лошачихой, роняя порою из рук душистый флакон, который, упав на землю, орошал феакийскую дорогу тирским благовонным маслом, она задумалась над тем, что для этого иностранца она, пожалуй, тоже является иностранкой. И вот уже все таланты чужеземца, одаренность в различных областях искусства, знание небесного свода, прикосновенность к вращательному движению земли, исполняла ее как бы благодатью. Она отпустила поводья, легшие свободно на спины обоим животным, и те, усмотрев в этом ласковый намек на свою чудесную способность, принялись нежно покусывать друг другу ноздри и тереться шеями. Возок поэтому не слишком скоро добрался до того места на берегу, где ручеек вливается в море. Маленький Лейон находился уже у самого устья и совершенно голый удил рыбу. Заметив девушек, он внезапно почувствовал на своих губах горечь морской воды, ибо все лицо ему забрызгала семга, которую он держал в обнимку и которая трепыхалась у него в руках.

“Ах, дорогая семга, — говорил он ей, — почему ты не одна из этих дев! Почему твои неподвижные глаза не их прекрас-

ные живые очи, твоя липкая чешуя — не их нежная кожа, твой жесткий рот — не их уста, твои жабры — не их уши... Вот оно, подлинное расстояние, отделяющее желания Лейона от его жизни! Увы, такова уж участь бедного эфеба — впрочем, это удел всех мужчин! — я раскрываю свои объятия женщине, а нахожу в них немую рыбу”.

Тем не менее он вышел из воды и побежал за ними, пугая девушек раскрытой пастью семги, норовившей укусить их.

“Ступай обратно в воду, горе-Лейон, — кричали девушки, — нам видна длань Улисса!”

Они хохотали, глядя, как он, пристыженный, пришибленный, пятился к морю.

Между тем Навсикая продолжала размышлять:

“Однако, — соображала она, — самому себе этот чужеземец вовсе не чужд! В собственных своих глазах он — существо, подобное нам, то есть до отчаяния знакомое. Быть может, он знает себя даже лучше, чем знаю я свой внутренний мир! Господи, как выбраться из этого тупика! Мне так хотелось бы полюбить кого-нибудь, кто был бы чужд даже самому себе!”

Поглощенная этими мыслями, она по мнимой оплошности запустила мяч в море, и ее спутницы, как было заранее между ними условлено, подняли крик, который должен был разбудить Улисса, спавшего в камышах. Но им откликнулось только эхо, отзывающееся и во сне. Два, три, шесть, двенадцать мячей тщетно один за другим полетели в воду, где они носились по волнам, как недосиженные яйца морских чаек.

“В общем, — пришла к выводу Навсикая, — совершенно чуждым следует признать лишь нечеловеческое. Вы, тополя, ты, лунный свет, и ты — полумесяц среди сиянья полдня, вы одни... Но поищем Улисса. Какого шума не натворили бы люди на протяжении ряда веков, если бы Навсикая возвратилась в отчий дом без Улисса!”

Раздвинув тростники, она вместе с подругами принялась за поиски героя, и каждая из них, услышав шелест ветра в камышах, испускала крик, думая, что нашла Улисса. Но нельзя разбудить ни морского истукана, ни образованный водорослями призрак. Однако Навсикая, вследствие пересечения двух линий, от сотворения мира предопределивших встречу ее с Улиссом, все же отыскала в бухте полузатонувшее тело, которому вмешательство богов сообщило особенную водонепроницаемость. Ноги находились еще в морской воде, а торс — уже в пресной; таким образом, эта жертва кораблекрушения, всякий раз, когда волна захлестывала ей лицо и рот, должна была чувствовать, что наступил конец ее морским горестям, и начинаются горести земные, лишённые привкуса соли.

Вытащить несчастного за ноги и за руки, пригоршнями удалить с него тину, растереть и умастить его было для девушек делом одной минуты. Никогда еще ни одного смертного не очищали от грязи более прелестные прачки. Результат их хлопот оказался совсем не тот, какого они ожидали. Это тело, которое в море, по-видимому, в силу своей божественной природы не подчинялось законам преломления света, теперь, на воздухе, приобрело те формы, которые приобретает тело Ахилла, погруженное в воду: слишком широкие ступни, руки неравномерной длины и толщины, задранный кверху нос, подбородок, смахивающий на трещотку. Но молодые девушки и в наше время убеждены, что уродство владетельной особы является наилучшим способом сохранения инкогнито.

Целый час они тщетно старались разбудить незнакомца, сначала криком, потом ударами, наконец, щекотанием. Можете сами вообразить, к каким только словам и приемам ни прибегли девушки, впервые поставленные в необходимость вытащить мужчину из постели, пытаясь извлечь его из шкафа сна. Аксилею осенила блестящая мысль.

“Сестры, — сказала Аксилея, — только один звук в состоянии разбудить этого человека: звук его собственного имени. Давайте-ка все вместе прокричим его, мы этим не нарушим запрета Алкиной, ибо пока чужеземец спит, ему нас не слышно и он решит, что во сне сам назвал себя по имени”.

Девушки, склонившись над телом и рупором приложив руки ко рту, так громко окликнули Улисса, что Алкиной и весь город вздрогнули от этого крика. Можно было подумать, что в окрестностях взорвался пороховой погреб... Затем они медленно выпрямились, как чашечки цветов, уже обронившие свою пыльцу.

При одном лишь имени Улисса Элпенор — ибо это был он — сразу в ужасе вскочил на ноги и наклонил голову.

“Кто ты, о чужеземец?” — спросила Навсикая.

Элпенор вскинул голову, задетый за живое.

“Виноват, — ответил он, — это ты чужеземка”.

Навсикая кротко возразила ему:

“Однако, о гость наш, это моя родина, мой город; эти деревья — мои деревья!”

“Совершенно верно, я именно это хотел сказать, — не сдавался Элпенор, — это чужая земля. Благовония, которыми вы обильно умастили мое тело — чуждые мне благовония. Как называется у вас это дерево?”

“Дендродендрон”, — ответила Навсикая.

“Надеюсь, вы не станете утверждать, что это не чужеземное название?” — промолвил Элпенор.

Заметив тень, пробежавшую по челу Навсикаи, девушки сказали Элпенору:

“Но разве ты явился не из незримой страны, не с неведомого острова?”

“Простите, — возразил Элпенор, — это вашу страну я вижу впервые, это ваш остров мне неведом!”

Почувствовав, что госпожа ее готова расплакаться, и желая столкнуть чужеземца с плота уже виденного, за который он цеплялся с упорством и ловкостью человека, привыкшего к кораблекрушению, Аксилея взяла слово:

“Тем не менее, именитый гость, внимательно присмотревшись к тебе, мы замечаем, что хотя твои руки, ноги, твои глаза или рот могут найти себе нечто равнозначащее у наших братьев и отцов, однако в словах твоих есть медлительная томность, и твой взор источает ночную тьму. Между нашими вопросами и твоими ответами остается какой-то промежуток, заполненный чем-то невесомым и издающий тот же звук, что и полая раковина. Твое молчание — чужеземное море”.

“Ты заблуждаешься, ты заблуждаешься! — воскликнул Элпенор. — Я слышу все, я вижу все! Вы ведь не станете уверять меня, что, когда я храню безмолвие, у меня итакийский акцент?”

“Нам не удастся с ним сговориться”, — подумала Аксилея.

“Но в таком случае, — ответила она, — если мы согласимся, что ни ты, ни я не чужеземцы, надеюсь, ты не будешь отрицать, что существуют еще третьи лица и что обитатели островов, чуждых как Итаке, так и феакийцам, должны быть признаны чужеземцами?”

“Еще бы, красавица, — подтвердил Элпенор, — разумеется, они настоящие чужеземцы”.

“Отлично, — продолжала Аксилея. — Теперь предположим, что один из них попадает сюда, попадает сейчас: разве не станет он рассуждать точно так же, как ты? О сестры, действительность не есть действительность, ибо несуществование не есть несуществование. В этом мире нет чужеземцев!”

“О, прости! — возразил Элпенор. — Наш корабль однажды стал на якорь у берегов страны, обитатели которой сами называли себя чужеземцами. ‘Мы чужеземцы’, — ответили они, когда мы сошли на землю, и женщины их тоже гордо именовали себя чужеземками. С ними у нас не вышло бы никаких пререканий вроде наших теперешних. У них были зеркала с кривою поверхностью, дававшие им лишь приблизительное представление об их собственном облике. Они верили в то, что вся жизнь их и все их поступки предопределены неотвратимым роком, который они называли благодатью. Они счита-

ли, что испытываемые ими страдания переживают не они. Будучи чужеземцами, они были совершенно лишены себялюбия, готовы были отдать все, что у них было, статуи, картины, и красотой превосходили один другого”.

“Каков же был на вид самый красивый из них? Как его звали?” — спросила Навсикая.

“Он был прекраснее самого себя, — ответил Элпенор. — Но имени у него не было, так же как у его соотечественников. Они находят, что имя родовое и даже личное имя налагает на его носителя отпечаток вплоть до подсознания. Впрочем, юная дева, одна из женщин была на тебя похода. Нет, здесь не о чем препираться! Ты бесспорно чужеземка!”

Девушки кольцом обступили Элпенора. Поодаль от них ревнивый Лейон, в объятиях которого билась семга, пытавшаяся вырваться на свободу, говорил своей пленнице:

“Ах, семга, взгляни на этих дур: они возьмется с мозглявым уродом только потому, что он принес с собой чужеземный запах. О дорогая семга, насколько мне приятней бороться с тобою, чем с одним из этих существ, именуемых женщинами! Ты, по крайней мере, думаешь в данную минуту обо мне, между тем как в день — так меня, во всяком случае, уверяли, — когда я не на шутку буду бороться с одной из этих дев, она будет думать об отсутствующих, о богах, о своей матери, о чем угодно, кроме Лейона”.

“Соберите народ!” — распорядился Алкиной.

Все ремесленники оставили работу, поспешно или медлительно — в зависимости от того, приходилось ли им иметь дело, как, например, мельникам и краскотерам, с порошковидными веществами или с веществами клейкими, как например, малярам, расписывавшим подводную часть судов, и продавцам меда. За ними бежали их дети, одни в пятнах, другие — в пыли, третьи — покрытые серебряным или золотым налетом, как будто отцы имели их не от своих супругов, а от своих орудий производства.

“Подданные, — громко объявил Алкиной, — выслушайте самую неожиданную новость! Близ Карадовой плотомойни найден потерпевший кораблекрушение неизвестный. Кто он, бог или полубог, целую ли порцию божества или полпорции соблаговолил поднести нам сегодня рок, этого я еще не знаю. Тело его с одной стороны было облеплено водорослями морских глубин, встречающимися лишь на мертвых наядях и тритонах, но на другой его стороне играло то красновато-золотое солнце, которое, по-видимому, является источником света для небожителей и которое мы иногда за-

мечаем, если смотрим снизу на прекрасного орла. Таков отрезок пространства между зенитом и надиром, куда его следует поместить”.

Между тем корифеи сновали в толпе, передавая всем приказание Алкиной, в тех случаях, когда у собравшихся не будет определенного мнения по какому-нибудь вопросу или они предпочтут держать его при себе — отделяться чисто формальным ответом, например, похвальным словом в честь дерева или цветка.

Лишь после этого Алкиной показал им Элпенора. Рядом с царем незнакомец производил впечатление карлика. Не сомневаясь, что этот колченогий не может сразу преобразиться в героя, Алкиной велел накинуть на него длинный, слишком тяжелый хитон, под которым он обливался потом. Все придавало ему сходство с собакой, наряженной в одежду, — все, вплоть до покорно преданных глаз.

“Вот, о подданные, наш гость! — воскликнул Алкиной. — Что вы скажете о нем?”

“Слава пробковому дубу и ели! — в один голос ответил весь народ. — Соединим в устах наших зелень их обоих, никогда не переплетающуюся одна с другой! Ведь нет никаких оснований не сочетать имен этих деревьев. Одно из них поглощает звук, а другое отражает его. Одно закупоривает наши бутылки, а другое идет на изготовление наших гробов. Переселиться из дома, окруженного пробковыми дубами, в дом, окруженный елями, — значит обменять безмолвие на ветер, беспечную мысль — на тоску. О, какое двойственное наслаждение — сочетать оба эти дерева в человеческой речи, как в некоем небесном питомнике!”

Элпенор поднялся, но толкнул при этом Алкиной и еще кого-то из окружавших, ибо с тех пор, как он побывал в Аиде на положении тени, ему уже не удавалось в полной мере восстановить утраченное ощущение собственного тела. С этого же времени, так как все, даже самые прославленные тени позабывали его воскресению и проводили его до ладьи Харона с более ревнивым чувством, чем возвращающиеся в Париж школьники провожают дипломатический корпус, с которым они столкнулись на вокзале, он вообразил, что предметом этой зависти была не жизнь сама по себе, но его жизнь, жизнь Элпенора, его тело, его язык, его кишки. Это преисполнило его непостижимой гордостью: он при всяком случае излагал историю своей жизни,ставлял напоказ свое убогое тело.

“Государь, — заорал и теперь Элпенор, — выслушай, кто я! За счастье возвратиться на землю в этом облике Аякс и его соперник — я видел это собственными глазами! — готовы были

снова вступить в поединок. Рожденный безвестной преступницей в Коркирской темнице, я был ею брошен в тюрьме, где провел раннее детство, вызвавшее такую зависть у Ахилла. Меня отдавали внаем выпущенным на свободу нищим; первый мой хозяин сделал меня кривоногим, чтобы я возбуждал смех у прохожих, и придал моим коленям, которыми так восхищался Парис, их шарообразную форму; второй, чтобы я возбуждал сострадание, вывихнул мне бедро, в обмен на которое Патрокл предлагал мне всю свою славу. Нет таких чувств, начиная с ужаса и кончая веселостью, которых не извлекали бы из Элпенора, как из арфы, но не пощипыванием струн, а переломом костей или разрывом сухожилий. Вот чем объясняется уродство моего остова, которым, кстати сказать — я привожу ее собственные слова, — гордилась бы Елена. Только в этих опухолях на губах повинен я сам, а не мои хозяева. Не зная, что металлы краснеют на огне, и увидав в кузнице подвешенную на медном пруте пурпурную подкову, я попробовал ухватиться за нее зубами...”

Элпенор кичливо излагал печальную историю своей жизни. Один лишь раз на своем веку он отведал свежего мяса и только однажды полакомился еще не сгнившими маслинами. Он рассказывал о своей ноге, застрявшей между спицами руля, когда натолкнулся на рифы, о большом пальце ноги, попавшем в гнездо бизань-мачты, о мочках ушей, ущемленных тисками кливера. Не было такой части триремы, которая не схватила бы Элпенора и не оставила бы на нем следа. Судно проделывало над ним все косметические процедуры: бушприт ежегодно отстригал ему ногти, реи срезали волосы на голове. Впрочем, все эти злоключения, насылаемые на него богами, были безрезультатны, ибо Элпенор не стал от этого ни рассудительнее, ни умнее, ни скромнее в своих желаниях...

Такова была та жалкая жизнь, которую он, словно дырявый свиток, развернул перед феакийцами. Но феакийцам сквозь все эти прорехи представала подлинная подкладка эпопеи, и они не находили ничего смешного в его повествовании. Упоенный успехом, Элпенор перешел под конец к изложению происшествий, при одном намеке на которые команда Улисса всякий раз на протяжении двадцати лет затыкала себе уши, — к рассказу о своей домашней утке, утнувшей в городском колодце, о своей кобыле, никогда не пятавшейся, если ее ставили крупом к стене, и даже задал присутствующим загадку, единственную загадку, какую он знал: что бывает белым, когда его бросают, а падая, становится желтым. Народ, довольный своей находчивостью, ответил: яйцо! Но Элпенор объявил, что это человек, которого боги

бросают на землю белым и который с наступлением старости падает в могилу желтым.

Тогда феакийцы воскликнули:

“О Алкиной, благодари богов за то, что они привели к нам на остров этого чужеземца. Он — Шарло Одиссеи!”

“В тот самый день, — продолжал Элпенор, — когда заразные карбункульные мухи искушали мне эту руку, меня завербовал боцман Улисса”.

При упоминании имени Улисса весь народ застыл неподвижно. Никто не проронил ни слова, все старались не дышать, даже дети удерживались от плача.

“Вы, значит, слыхали об Улиссе?” — спросил Элпенор, пораженный общим молчанием.

“Никогда! Никогда!” — все еще не выходя из оцепенения, ответил народ.

“Полноте, — сказал Элпенор, — между нами не должно быть никаких недоразумений. Вы недостаточно внимательно отнеслись к моим словам. Я вас спрашиваю, слыхали ли вы об Улиссе? Неужели вас поразило слово ‘слыхали’? Я иногда употребляю его, ибо в Аиде оно нравилось Елене. Это от нее я перенял его, так же как слово ‘воспоминание’... Я говорю вам об Улиссе, сыне Лаэрта, о царе Итаки!”

Тогда, поняв смысл знаков, которые делал им Алкиной, они заголосили все, от малых детей до убеленных сединами старцев:

“О чужеземец, слыхал ли ты когда-нибудь о том, что такое гипотеза? Это безосновательное предположение, объясняющее целый ряд явлений и сохраняющее силу вплоть до того дня, когда его удастся заменить более разумным домыслом. Так, например, происхождение созвездий мы объясняем похищением героев на небо, человекоподобные формы деревьев или говор ручейка — метаморфозами, зеленый луч, отбрасываемый заходящим солнцем — переутомлением сетчатой оболочки глаза. Конечно, нам известно, что Ахилла распознали в женской одежде, что в Трою ввели деревянного коня, что одурачили циклопа, что сирены тщетно пытались с высокого мыса заманить к себе корабль, но — впрочем, быть может, все происходит от нашей недостаточной осведомленности, — желая подвести столь различные подвиги под одну общую рубрику и не сомневаясь в том, что нет такого смертного, который дерзнул бы приписать все эти деяния себе одному, мы видим в них результат самовнушения... Не дыши так тяжело. Выслушай нас... Нет ничего невероятного в том, что циклоп, вечно опасавшийся потери своего единственного глаза, ощутил себя слепым, или в том, что троянцам, на седь-

мом году осады лишившимся конницы, вдруг примерещился в стенах города исполинский конь. Подобные случаи встречаются сплошь и рядом... Мираж! Самовнушение! Заметь, чужеземец, что мы не прибегаем для объяснения этого феномена ни к гипнотизму, ни к явлениям дематериализации вещного мира... Ни даже к сновидениям..."

"Вы заблуждаетесь! Вы заблуждаетесь!" — задыхаясь, крикнул Элпенор.

"Мы будем рады заменить эту гипотезу другой, — восклицал народ, ободренный знаками Алкиноя, — и отнести эти феномены на счет силы тяготения или силы диаметрально противоположной..."

Так говорили феакийцы, чтобы побудить того, кого они принимали за Улисса, назвать себя, и начали задавать ему вопросы, казалось, взятые из руководства к изучению Одиссеи. Была ли Пенелопа брюнеткой? Из бука или из дуба был сооружен троянский конь? Но как раз на эти вопросы бедняга Элпенор не мог ответить почти ничего. С великой эпопеей у него была хотя и тесная, но крайне незначительная связь. Он представлял собою образчик тех несчетных невежд и лишенных любознательности анонимов, которые являются канвою всякой прославленной эпохи. Со всеми героями и их безмерными подвигами он соприкоснулся лишь с самой презренной стороны. Ахилла он знал потому, что однажды ему пришлось соскребать грязь с его пяты, Аякса — потому что тот плюнул на его скамью в триреме, Цирцею — потому что она помогала Эклиссе расчесывать шерсть. В день взятия Трои он чистил умывальный таз Гекубы. В день Ахиллова гнева он копал в огороде лук. В день смерти Париса он ставил заплаты на пеплуме Терсита. Эпические высший свет и полусвет были ему знакомы только с изнанки. Великие события мифологии служили ему лишь для закрепления в памяти самых ничтожных событий его личной жизни: в вечер Бризеиды он выиграл две драхмы у некоего Берия; в вечер Андрوماхи он распивал дешевое вино амазонок с неким Трахописом. И Пирр, и Калипсо, и Агамемнон были для него только подпорками безвестных имен: какого-то Латакоба, Перипелая или Вагапола. Но он не мог решиться не верить в эту эпопею, как лакей не может отрицать существования своего хозяина. Он был золотарем сказочного времени.

"Полно, чужеземец, — уговаривали его феакийцы, — мы охотно поверим каждому твоему слову. Слышал ли ты сирен?"

"Нет, — смущенно ответил Элпенор, — но я их видел".

"Видеть сирен совсем не интересно, — возразил народ, — нисколько не интереснее, чем видеть скрипку. А циклопа ты видел?"

“Нет, — ответил Элпенор. — В пещере было совсем темно. Но я слышал его голос”.

“Ты издеваешься над нами, о чужеземец! Из Одиссеи ты видел все, что надлежало слышать, и слышал все, что надлежало видеть. А к Калипсо ты прикоснулся?”

“Нет, — ответил Элпенор, — но я обонял ее”.

“Самовнушение! Самовнушение! — воскликнул тогда народ. — Все это только самовнушение! Этот чужеземец питался видами природы, внимал пище, обонял слова!”

“Ну а Эклиссе, — заревел Элпенор, — Эклиссе, любовница знаменитого Элпенора, тоже, по вашему, только самовнушение?”

“Разумеется, нет! — ответил народ. — Разумеется, нет, если ты покажешь нам на своем теле какой-нибудь след Эклиссе. Совсем не нужно, чтобы он походил на след раскаленного железа, которое ты лобызнул всего лишь раз. Тебе не удастся убедить нас, будто все оставляет на себе отпечаток, за исключением только одной любви. Эклиссе не кусалась, не царапалась? Это доказывает, что она менее страстна, чем самовнушение, в результате которого мужчины становятся убийцами, а женщины беременеют. Когда любовница грызет сердце своего любовника, вместо того чтобы укусить его в плечо, это означает, что она не доверяет крепости своих зубов или сомневается в собственном бытии, иными словами, либо она беззуба, либо ее не существует совсем. Которое же из двух предположений ты отнесешь к Эклиссе?”

Заметив в глазах у гостя слезы, Алкиной отложил на послеобеденное время состязания в гимнастике и в искусстве, на которых чужеземец должен был проявить свои таланты, и приказал маленькому Лейону проводить гостя в приготовленное ему помещение. Но Элпенор жаловался на недомогание, и полуденный отдых был ему не впрок. Тогда Лейон, которого преследовал образ Елены, попытался вызвать Элпенора на разговор о дочери Леды, польстив его самолюбию в вопросе об Эклиссе.

“О чужеземец, — сказал он, — я верю в существование Эклиссе”.

Элпенор улыбнулся.

“Ах, почему ее нет с нами здесь, малыш Лейон! Я дал бы тебе потрогать ее плечи. Ты мог бы, если бы захотел, взять ее”.

“Что мог бы сделать?” — спросил маленький Лейон, бывший еще вполне целомудренным.

“Ты мог бы взять ее в объятия, она повисла бы у тебя на шее”.

“А Елена, о гость наш?”

Они говорили долго, ибо вслед за описанием каждой части живой Эклиссе, Элпенору приходилось описывать соответствующую часть тела Елены, которую он видел только после того, как она стала тенью.

“У Эклиссе была замечательная грудь. Она одним вздохом приподымала меня”.

“А Елена?”

“Она едва переводила дух, и от дыхания ее не тускнело ни одно зеркало... Что же касается глаз Эклиссе, они светились так ярко, что на них даже слетались мошки. То-то была потеха!”

“А глаза Елены?”

“Они были без зрачков и лишены всякого выражения”.

И Элпенор поведал о том дне, когда в Аиде его тень смешалась с тенью Елены. Так как ростом он невысок, то голова его пришлась на уровне сердца Елены, левая его нога слилась с ее правой, плечо потонуло в ее бедре, и только одна рука выступала за пределы божественного тела. Рассказывая об этом, он хохотал. Но именно такое полное слияние представлялось Лейону настоящей любовью. Лейон считал, что любовь — это взаимное проникновение друг в друга двух существ, заключение в своем теле другого тела, в котором ты, в свою очередь, заключен, поцелуй в свои собственные уста, и это смешение двух теней казалось ему единственной реальностью. Сколько раз он уже с наслаждением следовал за прекрасной Клео, располагаясь в ее тени! Эта тень была крошечной конуркой в полдень, когда она почти вплотную примыкала к телу девушки, но зато под вечер превращалась в обширный дворец! Он бродил в ней, помещался у нее на лоне, лнул к ее груди, припадал к лицу, лобзал ее, но на губах у него оставался только вкус пыли.

“Как от Елены”, — пробормотал, уже засыпая, Элпенор.

Малыш Лейон, которому не давала покоя мысль о женщине, пошел просунуть свою руку сквозь девичью занавешенную решетку, как он просовывал сквозь камышовые заросли свои удочки, и вскоре пять нежных сухих пиявок заставили его неспешно разжать пальцы. Но он воображал себя Элпенором, слившимся с тенью Елены, за исключением руки, выступавшей наружу, и единственная часть его тела, не испытывавшая острого блаженства, была именно та, которую ласкала Навсикая.

“Чужеземец, — обратился к Элпенору Алкиной, когда стадион был уже полон народом, — укажи нам свои любимые игры, и они будут нашими”.

Не было ничего более незыблемого и неподвижного, чем программа феакийских игр и даже самый порядок состяза-

ний. Они начинались бегом на сто девяносто два метра шестьдесят сантиметров с установленного старта; далее следовало состязание в эпической поэзии, с так называемых правильных поэм, состоявших из трех рифмованных строф без тонического ударения; заканчивалась программа метанием буксового дротика весом в двенадцать унций. В Феакии можно было наблюдать ту же картину, что и во всем остальном мире, где человек допускает разнообразие только в отношении всяких зол и недугов.

Но Элпенор, не знавший ничего, кроме кибской игры, особого вида игры в лото, широко распространенной среди судовых команд, воскликнул, введенный в заблуждение учтивостью гостеприимного хозяина:

“О феакийцы, разве есть игра благороднее кибской игры? Шифрованный язык — язык, на котором изъясняются боги, и мир, по утверждению философов, покоится на шифре вечных чисел”.

Народ, собравшийся отнюдь не затем, чтобы заняться кибской игрой, закричал в восторге:

“Он прав, чужеземец! Единственная настоящая игра — это кибская. Единственный настоящий язык — это шифрованный, и условнее всех язык самого чужеземца, ибо, говоря о кибской игре, он предлагает нам состязаться в беге с установленного старта, в трехстрофных поэмах и в метании дротика... Буксового или дубового, чужеземец?”

“Дубового”.

“Все тот же условный язык! Что же, если тебе угодно, пускай будет буксовый. В двенадцать или в четырнадцать унций?”

“В двенадцать”.

“Не будем спорить: таково его делание!”

Состязавшихся выстроили в один ряд. Их было четверо: малыш Лейон, чемпион Рексенор, Элпенор и галл — скороход, домогавшийся участия в олимпийских играх, изобретатель “старта коромыслом”. Он и сейчас вырыл две ямы неодинаковой глубины, в которые опустил обе ноги, сгреб в кучу песок, чтобы опереться на него руками, и, стремясь удержать голову на линии центральной оси своего тела, схватил в зубы свинцовую проволоку, служившую также противовесом, и которую он собирался выпустить изо рта, как только раздастся сигнал. Самый красивый из них четверых был Рексенор. Родственник Навсикаи и претендент на ее руку, это он научил царевну игре в мяч и открыл ей сущность знаменитого приема, прославившего молодую девушку и окружившего ее имя ореолом бессмертия. Он оказался ровней тому, кто объяснил Са-

кунтале, каким образом следует защищаться от пчел, и тому, кто преподавал Виргинии искусство оставаться одетой во время бури... Он принадлежал к числу тех трех-четырех человек, которые внесли свою лепту в сокровищницу грации.

“Участники! — громко спросил судья. — Готовы ли вы?”

Все были готовы. Галл-скороход уже взметнул кверху нижнюю часть туловища.

“Нет еще!” — крикнул Элпенор.

Но сигнал был уже подан, и малыш Лейон, опередив чемпиона Рексенора, возвращался к старту, оставив далеко позади галла-скорохода, который запутался в собственной проволоке и притворялся, будто вывихнул себе лодыжку, когда Элпенор наконец пустился бежать. Переваливаясь и точно ковыляя на одной ноге, он присоединился к победителям. В народе поднялся было ропот, но Алкиной воскликнул:

“О друзья мои, какой урок скромности подает нам чужеземец! До сих пор скромность не выходила из круга нравственных достоинств. Но вот благодаря нашему гостю она распространится и на область физических добродетелей. Счастлив тот, кто расширяет поле столь прекрасным посевом! Мы имели скромных государственных мужей, скромных воинов, скромных дев, отныне же благодаря ему у нас будут скороходы и кулачные бойцы, проявляющие скромность в самом разгаре состязания. О чужеземец, объявляю тебя победителем, ибо победителем надлежит признавать того, чей образ запечатлевается в сердце, а не в глазах... А теперь пускай подымутся на подмостки участники соревнования в поэтическом искусстве. Вот тема, выбранная самим Демодоксом. Демодокс знает, что главная обязанность поэта — это отвлекать народ от его подлинных нужд, перенося его воображение совсем в иные широты. В соответствии с этим вам предлагается следующая тема: *Пробуждение весны в северных странах!*”

Разумеется, все они, моряки-островитяне, предпочли бы одну из трех обычных тем: “Почему необходимо раз навсегда отказаться от проекта соединения острова с материком посредством туннелей?”; “Почему континентальным странам совершенно незачем обзаводиться флотом и флотилиями?”; “Почему, если бы полет Икара увенчался успехом, следовало бы воспрепятствовать проникновению его на остров феакийцев?”. Однако, не желая подымать вопрос об этом в присутствии чужеземца, они хранили молчание, и первый соискатель, Франоейн, выступил вперед.

Поэт-лауреат, Франоейн хорошо знал, на какие хитрости способны власть имущие, и прежде всего старался угадать тайную мысль, которая, по его мнению, подсказала им выбор

темы. Он был человек скрытный и считал, что муза также существо скрытное. Омонимы приводили его в восторг, ибо он видел в них сплошное лицемерие. Перифразами он пользовался исключительно с целью обмана. Он стяжал уже много наград тем, что сумел пронюхать ловушку под невинными на первый взгляд заглавиями, и теперь ему тоже померещилась чудовищная западня. Раз северные страны были противоположностью южных, в частности, Элады, то весна в них должна была представлять полную противоположность греческой весне: она была там порою скорби и печали. Вместо того чтобы, вытянув руку, схватить лиру, торжественно приподнять ее над собой и откинуть голову назад, как это обычно делают поэты, приступая к гимнам в честь весны, он сгорбил, нахмурил чело, вяло подтянул к себе инструмент и, как только истекло на песочных часах положенное время, грустным голосом продекламировал свои три строфы. Вот они, записанные дословно:

Пробуждение весны в северных странах

Зима ушла. Весне — почет!
Уж солнце больше не печет:
В нем зноя нет.
Его лучи ласкают втуне
Вербену, венчики петуний
И горицвет.

Зарылся солнца диск в сугробах:
Над ним навис, как тяжкий обух,
Весны приход.
Охотник тонет в почве млечной,
Зато рыбак скользит беспечно
По лону вод.

Распутнице и деве скромной
Равно уж не до неги томной —
О, царство сна!
Сатир — бесстрастия победа! —
Не похищает дочь соседа:
Весна! Весна!

Народ, которому совсем не пришлось по вкусу поэтическая вольность, допущенная Франоейном, пренебрегшим в первой строфе чередованием женских и мужских рифм, закричал:

“О Алкиной, что должны мы больше восхвалять, уловку ли Франоейна, внушившего нам тоску по пышнолиственной зи-

ме, или же начало поэмы, мужскими рифмами сознательно погрешающее против правил просодии? Благодаря этому солнце получается ослабленным раз в двадцать и совершенно анемичным!.. Но вот второй соискатель!”

Внезапно над городом феакийцев разлился божественный свет. В разгаре полдня занималась утренняя заря. Ветер сбивал в сплошную массу листву тополей, и в каждой складке морской поверхности сверкали те прекрасные синие блики, которые после дождя пленяют наш взор в любой дорожной колее. Дело в том, что вторым соискателем, выступавшим под именем Канопа, родственника Алкиноя, был не кто иной, как Аполлон.

Предупреждаемый музами о всяком значительном состязании, он не считал умалением своего достоинства нисходить с Олимпа, чтобы померяться силами со смертными людьми, уверенный в том, что одержит над ними верх. В этот день он чувствовал прилив вдохновения. Действительно, едва заняв на подмостках место Франоейна, он натянул струны лиры и, не воспользовавшись даже положенными пятью минутами, симпровизировал гимн, который мы дальше приведем... Но будучи в ударе, он отказался от однообразного ритма, испокон века господствовавшего в поэзии аэдов, и впервые прибегнул к синкопическим формам, придающим пэану большую выразительность. Развеселившись при виде изумления матроса-негра, сошедшего на берег прогуляться по острову, он, кроме того, впервые дал волю тайному чувству удовлетворения, побудившему его ввести паузы вместо коротких слогов непосредственно вслед за долгими, что сообщило диподию чрезвычайную остроту... Это еще не все! Разрешите мне описать вам, что представляли собою вдохновение Аполлона и греческая поэзия!

Нежность, прорывавшаяся у него даже в голосе, нежность, каждый прилив которой занимал время, необходимое на произнесение полутора стоп, навела его на мысль о создании трехсложной стопы, в которой два кратких слога равнялись бы одному долготу. Он почувствовал, что кровь в его жилах стала вращаться быстрее: ведь он, шутка ли сказать, изобрел циклопический дактиль!..

Мало того! Стремясь — это было вполне естественно, раз он уже вступил на путь находок — разрешить нормальный ритм ритмом двойным и, вопреки обыкновению, не пожелав воспользоваться классическим трохеическим диподием, он, весь во власти радостной тревоги, вызванной отчасти видом Навсикаи, поместил один краткий слог перед ударяемым слогом, укоротив на ту же меру времени второй долгий, и весь за-

трепетал от восторга, ибо он изобрел не более и не менее как циклический анапест!..

Мало того! Решив извлечь все, что можно, из прилива вдохновения, поразившего и обеспокоившего его самого, ибо у бога, в конце концов, нет бога, вдохновляющего его, благодаря чему у него создалось впечатление, что существует поэзия, диктующая свои законы даже богу поэтов (это внимание лишь на мгновение рассеялось, когда порыв ветра, распахнув хитон на малыше Лейоне, обнажил пред ним длань Улисса), он довел до крайности употребление рациональных стоп, которыми дотоле никто серьезно не интересовался. Он сыграл на сходстве их с периплеоническими стопами, и — на подобное новшество может отважиться только бог — вместо того чтобы чередовать в стопе неударяемый слог с ударяемым, он, несмотря на ропот тополей, требовавших ослабленного трохея, дерзнул ограничиться одними ударяемыми...

Приятно отдался во власть легкой, незамысловатой поэзии... Иногда, подмигивая в сторону присутствующих, он забавлялся тем, что прибегал к эпитриту в целях достижения комического эффекта, но тотчас же печальными трохеями покупал эту вольность... Короче, подводя итог всему сказанному выше, Аполлон в этот день создал и освободил от гнета рассудка иррациональную поэзию... Вот его произведение... Оно является наиболее совершенным памятником греческой поэзии, ибо в нем в одинаковой степени обнаруживается и знание вселенной, и знание богов. Остается только пожалеть о том, что из высокомерия, в котором он сам не давал себе достаточного отчета, Аполлон, говоря о людях, употребил выражения, которыми люди пользуются, говоря о скотах.

Пробуждение весны в северных странах

Боги, прикоснувшись в это утро к земле, почувствовали ожоги на пальцах ног. Таял снег. Каждый из них призвал с Олимпа богиню, чтобы потешиться ее изумлением. Нагая Геба с кубком в руке, обремененная, словно обетованием сына, возложенной на нее задачей, погрузилась по самые бедра в белую кору. Вакх тоже увяз, запутавшись в ветвях винограда. Зевсова орла, ягуаров и тигриц, принимавших участие в шествии, можно было выследить по отпечаткам их лап на снегу. Вдруг за поворотом Бергеймской лесной дороги Флоре, одетой в эдельвейсы, предстал уже покрытый трещинами фьорд... На санях, на конках катались наяды и тритоны, сопровождаемые под покровом прозрачного льда стаями ручных рыб — осетрами и стерлядями. Уже трогались с места лавины, и над ними кружились синие

птицы, китайские фазаны, павлины. В долинах редели облака пара, вырывавшегося из ноздрей коров и овец. Была весна. Аполлон, прекраснейший из богов, неизгладимым солнечным клеймом пятнал ланей, полосовал зебр... И вдруг все растаяло, лавины превратились в водопады, льды уплыли в океан, увлекая в родную им стихию наяд и тритонов. Наступила весна. Жены пахарей и царицы уже искали в лугах трав и корней для приготовления корма своим самцам...

Так пел Аполлон и, в восторге от своих открытий, даже возымел дерзость взять заключительный аккорд в виде парабазы, ибо он заметил, что тройственным созвучиям легче исторгнуть рукоплескания у толпы... Мало того! Он не ограничился в этот день преобразованиями в области ритма, стиха и музыки. Пользуясь своими правами небожителя, он преобразил самую лиру, заменив металлические струны кошачьими кишками, буксовые колки еловыми, придумал новый постав ступни и, сообщив голосовой щели особое положение, изобрел зюзюканье.

Но феакийцы, задетые за живое этими вольностями и надругательством над людьми, не должны были, несмотря на свою обычную лстивость, упустить случай единственный раз, когда им привелось увидеть в своей среде бога, оскорбить его, и единственный день, в который им следовало бы хранить молчание, оказался днем, когда они свободно выразили свое мнение.

“О Алкиной, — воскликнули они, — этот человек сам исключил себя из соревнования! Конечно, мы только люди, жалкие скоты, но и у животных есть чувство достоинства: никто из нас не позволил бы себе прибегнуть ради комического эффекта к эпитриту. Нам чужд музыкальный садизм, и мы не способны погружать в снег голых или беременных нимф”.

Тогда выступил Элпенор.

Теперь Элпенор был привязан к стволу масличного дерева, вдали от города феакийцев, и окружен музами. Но с ними не было их обычных атрибутов — астробии, компаса или маски. Каждая держала в руках орудие пытки, вполне соответствующее тайной жестокости муз: История — отравленные иглы, Лирическая поэзия — пилу, Легкомысленная поэзия — бритву. Дело в том, что Элпенор, не способный ни на какую выдумку, спел матросские песни: “Девушка в гнездышке” и “Поцелуй мельника”, причем заставил феакийцев подтягивать ему хором. Он получил первый приз, и Аполлон, возмущенный триумфом Элпенора, похитил его, чтобы содрать с него кожу.

Охваченные гневом, музы мало заботились о своих покрывалах, и, если бы сердце Элпенора не сжималось тягост-

ными предчувствиями, он мог бы упиться зрелищем многих прелестей. Кажется, одна только Астрономия сохранила некоторую стыдливость, и то обстоятельство, что мужчине, глядевшему на нее, предстояло сейчас умереть, не заставило ее отказать от своей всегдашней скромности.

“Дщери мои, — изрек Аполлон, — приступите к делу”.

Они приступили, и вокруг них царила безмятежная кротость, какую их присутствие всегда сообщало природе. Трава благоухала запахами всех цветов; от старого масличного дерева исходил аромат всех плодов. Ни малейшей ряби в море, ни одной тучки в небе. И вот История вонзила свои иглы Элпенору под ногти, Мельпомена проколола ему щеки, и так как ноги его, забрызганные грязью, судорожно подергивались, Эрато бритвой отрезала на них пальцы. Затем Терпсихора по одному вырвала у него на голове редкие волосы — жалкие остатки шевелюры, пережившие Одиссею. Наконец, Полигимния, раскалив на огне ореховую скорлупу, положила ее ему на язык... Тогда с его уст сорвалась жалоба.

“Музы, музы, — простонал он, — за кого вы принимаете меня? Это недоразумение! Я не из тех, кого до сих пор удостаивали своим гневом боги. Я — Элпенор”.

Но Аполлон продолжал подстрекать муз, оскорбленный тем, что Элпенор во время пения аккомпанировал себе на флейте, а не на лире. Опасаясь, как бы музы не сочли Элпенора слишком ничтожной мишенью своего гнева, существом, недостойным столь страшных пыток, он наделил его рогами и копытами, придав ему внешность их старинного врага — Марсия. Он даже позабыл оставить ему память Элпенора, и Элпенор, вместо того чтобы в последнюю минуту окинуть взором всю свою жизнь, мысленно пережил счастливую жизнь Силена, детство в лугах, покрытых первой земной росой, насилие над первой нимфой, насилие над тысячной, и его охватила великая ненависть к богам.

“Пытайте меня, Музы! — крикнул он. — Да, я — Марсий! Да, я презираю самодовольство и педантизм вашей академии, академии во всех смыслах! Да, вы навек останетесь старыми девами с вашим попугаем Аполлоном, вскормленным на солнечных зернах. Но растолкуйте ему хорошенько, что он ошибается, если верит в будущность лиры. Смехотворный инструмент: птицы в насмешку украшают им свою гузку! Будущее, о старые девы, принадлежит флейте: посмотрим, что скажет Аполлон через три тысячи лет! Ибо лира — инструмент божественный, иными словами, механический, бесплодный, подчиненный законам техники, между тем как флейта, о музы, воплощает в себе самое дыхание человека, неукротимой твари, плюющей на богов!”

Тогда История вспорола ему живот и извлекла наружу внутренности. Каллиопа подрезала кольцами кожу на руке у предплечья и отделила ее от мяса. Терпсихора вскрыла ему череп и обнажила мозг. При виде этого мозга всеми на минуту овладело сомнение — такое разительное представлял он сходство с мозгом кретина. В нем совершенно отсутствовали извилины ориентации, зависти и ассоциации идей. Голубю и тому здесь нечего было бы позаимствовать. Все эти признаки убожества, все эти малокровные органы, которым, вопреки всему, приписывали какую-то несуществующую силу, красноречиво свидетельствовали о немощи Элпенора и зывали к милосердию. Аполлон угадал опасность и превратил Элпенора в гиганта.

“Музы, — приказал он, — продолжайте вашу расправу над этим ненавистником богов!”

Они снова принялись терзать всеми способами эту лиру человеческих страданий. Элпенор почувствовал себя теперь гигантом Пирифоем. В этом двадцатиунцевом мозгу возникли воспоминания о восхождении на небо, о борьбе один на один с Марсом. Когда же игла вонзилась Элпенору в печень, он вообразил себя Прометеем. Образы всех умерших и грядущая мысль тех, кому еще предстояло умереть, на одно мгновение овладели его душой. Его окрылила безмерная признательность людей, людей, для которых он похитил огонь, изобрел письмо, порох и компас, безмерная признательность женщин, для которых он украл у Венеры зеркало и румяна, он трепетал от восторга, предугадывая в будущем такие открытия, как предохранительные прививки, точильное колесо и пар.

Порою, с целью подбодрить себя, он испускал громкие крики, и Аполлон велел залепить ему уши воском, как некогда сделал это, опасаясь сирен, Улисс. Бедный Элпенор, он был сам своей собственной сиреной! Звуки проникали теперь в него через раскроенный череп, и Элпенор мысленно упивался возмездием, которое он в будущих веках уготовит богам при помощи чернокнижия, литературы и революций. Вдруг он вздрогнул всем телом, ибо сам Аполлон, приблизившись, кляпом стал затыкать ему рот.

“О дорогие люди, — успел он крикнуть, — боги только плод воображения, и смерти не существует!”

Тогда Аполлон содрал с него кожу и подвесил ее в виде меха к масличному дереву.

Приблизительно в это же время Улисс, которому наскучило поджидать Навсикаю в бухте, куда морские волны выбросили его двумя часами позднее против расписания Одиссеи, ре-

шил отправиться в город феакийцев. Полагая, что по дороге ему могут встретиться не только молодые девушки, он накинул на себя одежду. Издали, оттуда, где высились дворцы, до него доносились громкие крики.

“Что это за торжество, — спросил он прохожего, — чем вызваны эти крики?”

“Там происходят игры, устроенные в честь Улисса, — ответил прохожий. — Но ты уже не успеешь, о чужеземец, принять в них участие, ибо Улисс вышел победителем из всех соревнований”.

“О Минерва, — подумал он, — мне ясно все. Жизнь моя представляет собою столь плотную канву, каждый эпизод ее заранее обдуман до таких мелочей, что мне даже не предлагают переживать ее. Вскоре, если я не приму надлежащих мер, она обойдется совсем без меня. Эпизод ‘Навсикая — Улисс’ среди прочих был до такой степени безусловно необходим, что не сочли нужным подождать меня хотя бы час, чтобы закрепить его в памяти потомства. Он окажется наиболее прославленным из всех моих приключений, а между тем он будет небывшим! Об одном лишь молю тебя, Минерва: сделай так, чтобы посадка на корабль, который сегодня вечером должен отвезти меня в Итаку, не произошла без Улисса!”

Под покровом тумана, окружавшего богиню, он достиг подножья помоста и, воспользовавшись благоприятным моментом, снова включился в Одиссею. На месте, оставшемся пустым после исчезновения невзрачного Элпенора, феакийцы вдруг заметили чужеземца исполинского роста и, узнав Улисса, кинулись оснащать корабль. Но не сомневаясь в том, что по прибытии из Итаки судно должно превратиться в скалу, а все матросы — в подводные камни, они выбрали самое широкое и самое округлое, чтобы оно формой своей меньше всего походило на риф, и в состав команды назначили самых жирных феакийцев.

Словарь имен и названий

Андромаха — жена троянского героя Гектора, после взятия Трои — наложница Неоптолема (Пирра), сына Ахилла.

Антиклея — мать Одиссея, которого родила то ли от мужа, Лаërта, то ли от связи с Сизифом; умерла, не дождавшись возвращения сына из-под Трои, возможно, покончила с собой, получив ложное известие о смерти Одиссея.

Атлас — титан, которому олимпийские боги после титаномахии положили на плечи небесный свод.

Бризеида — наложница Ахилла, отнятая у него Агамемноном, что и стало причиной конфликта в начале “Илиады”.

Виргиния — добродетельная героиня романа Б. де Сен-Пьера, которая предпочла утонуть во время шторма, но не снимать с себя тесное платье.

Галатей — nereida, объект страсти циклопа Полифема, убившего ее возлюбленного Ациса.

Данаиды — пятьдесят дочерей царя Даная, убившие навязанных им насильно мужей в первую брачную ночь (за исключением Гипермнестры).

Демодок — слепой аэд (певец) у феаков, персонаж “Одиссеи”, исполняет три песни о Троянской войне.

Калипсо — океанида, жившая на одном из островов Средиземноморья (Гавд, Нимфея, Огигия); влюбилась в потерпевшего кораблекрушение и оказавшегося на ее острове Одиссея и удерживала его длительное время.

Катаблепас — легендарное животное с туловищем буйвола и головой кабана, способное парализовать взглядом или дыханием.

Киконы — одна из народностей Фракии, центр проживания — окрестности горы Исмара, в Троянской войне держали сторону троянцев, были разгромлены войском Одиссея на обратном пути.

Киммерийцы — единожды упоминаются в “Одиссее” как племя, обитающее в преддверии Аида.

Лампетия — одна из дочерей Гелиоса; вместе с сестрой Фаэтузой пасла священных коров на Тринакрии, заколотых Одиссеем и его спутниками.

Латона — титанида, родившая от Зевса Аполлона и Артемиду; в Троянской войне поддерживала троянцев.

Лестригоны — островные жители-людоеды, упоминаются в “Одиссее”.

Лотофаги — жители одного из островов Северной Африки, вероятно Менинги (Джербы), упоминаемые в “Одиссее”; поклонялись дереву, из цветов которого делали напиток забвения.

Марсий — сатир, искусно игравший на флейте (авлосе), изобретенной Афиной; вызвал на состязание в музыке Аполлона и был им убит — с Марсия живьем содрали кожу.

Медя, плащ — знаменитая мифологическая героиня пропитала ядовитыми травами пеплос, подаренный ею Главке, сопернице в любви к Ясону; Главка, надев его, буквально сгорела заживо.

Остров Солнца — так называли о. Родос, отданный во владение Гелиосу, богу Солнца.

Пенфесилея – царица амазонок, участница Троянской войны; была убита в бою влюбленным в нее Ахиллом.

Перимед – один из главных спутников Одиссея, согласно гомеровскому эпосу.

Пирифой – царь племени лапифов; вместе с другом Тесеем пытался похитить из подземного царства Персефону, за что претерпел там различные мучения.

Пифр (Неоптолем) – сын Ахилла, герой Троянской войны, убивший царя Приама; после войны утвердился в Эпире, женился на Гермione, дочери Менелая и Елены; был убит в Дельфах Орестом или жрецами.

Пифон – змей, дельфийский оракул, убитый Аполлоном, учредившим там собственный культ.

Сакунтала – героиня индийской мифологии, мать императора Бхараты; персонаж “Махабхараты” и одноименной драмы Калидасы.

Сизиф – царь Коринфа; один из наиболее известных хитрецов греческой мифологии, наряду с Одиссеем (возможно, он даже был отцом Одиссея); был наказан богами посмертной карой – катить в гору огромный валун, неизбежно срывающийся вниз.

Тринакрия – иное название о. Сицилия.

Фаэтуза – одна из дочерей Гелиоса; вместе с сестрой Лампетией пасла священных коров на Тринакрии, заколотых Одиссеем и его спутниками.

Филоктет – один из героев Троянской войны, обладатель лука и стрел Геракла; был укушен змеей, рана источала ужасный запах.

Эвриклея – повитуха и кормилица Одиссея.

Эврилох – согласно поэме Гомера, один из главных спутников Одиссея; вероятно, был женат на его сестре Ктимене.

Элленор – спутник Одиссея; упоминается в поэме: песнь X, ст. 552; песнь XI, ст. 51; песнь XII, ст. 10.

Эреб – подземное царство мрака, откуда тени умерших попадают в царство Аида.